



ПОВЕСТИ О ЛЮБВИ

МЕЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Повесть

Егор Иваныч Молотов думал о том, как хорошо жить помещику Аркадию Иванычу на белом свете, жить в той деревне, где он, помещик, родился, при той реке, в том доме, под теми же липами, где протекло его детство. При этом у молодого человека невольно шевельнулся вопрос: «А где же те липы, под которыми прошло мое детство? — нет тех лип, да и не было никогда». Припомнился ему отец-мещанин, слесарь, жизнь в темной конуре, грязь и бедность, и первые детские радости, смех и горе, и молитвы. Матери он не помнил; отец же ему представлялся очень живо. Он помнил, как, бывало, отец долго работает, пот выступит на его широком лице, а он, Егорка, тут же копаются. Отец вдруг оставит работу, вздохнет на всю комнату, ущипнет ребенка за щеку и скажет: «А поди ко мне, чертенок!», посадит его к себе на колени, любителю на сынишку, целует его крупными губами, поднимает к потолку, хохочет.

— Чего ржешь, тятка?

— Что, Егорка? А?

— Ржешь чего?

— А стих такой нашел.

— Ишь ты! — отвечает Егорка.

— А спеть тебе песню? — спрашивает отец.

— Спой, тятка.

И поет отец дрянным голосом песню. Детская жизнь Егора Иваныча совершилась в грязи и бедности, а вот и теперь он вспоминает ее с добрым чувством. Егорушка был мальчик бойкий: подпилки, клещи, бурава, отвертки, обрезки железа и меди заменяли ему дома игрушки.

— Из тебя, Егорка, лихой выйдет мастер; много у тебя будет денег.

— О! — говорит Егорка.

— Тогда не забудешь своего тятку?

— Я тебя, тятка, не забуду...

Отец беседовал с Егоркою, как со взрослым, разговаривал обо всем, что занимало его: побранится ли с кем, получит ли новый заказ, болит ли у него с похмелья голова — все расскажет сыну.

— Башка трещит, Егорка: вчера хватил лишнее. Вырастешь, не пей много.

— Я, тятка, пиво буду пить...

— И молодец!.. Ты у меня молодец ведь?

— Еще бы! — отвечает сын.

Иногда отец советуется с ним.

— Вот, Егорка, деньги получил за работу, а завтра праздник; так мы щей сварим, пирог загнем, да еще чего бы? Киселя аль каши?

— Каша не в пример лучше...

— Ну, так каши, — соглашается отец.

И во всем так: идет ли отец гулять, в церковь, в гости — везде с ним Егорка. Мальчик свободно относился к отцу, точно взрослый, да и живет он дома не без пользы: он и в лавочку сбегает, и заказ отнесет, сумеет и кашу сварить, и инструмент отточить, и пьяного отца разденет, спать уложит, да еще приговаривает:

— Ну, ложись!.. Ишь ты, нарезался!..

— Молчи, Егорка!

— Ладно, не разговаривай, лежи себе...

Вот в подобных случаях выпадали тяжелые минуты в жизни Егорки. Иногда придет отец сильно пьяный, злой, непокладный и ни с того ни с другого поколотит сына...

— Не озорничай, тятка!.. Черт этакой!.. Право, черт! — отвечает ему сын.

— Врешь, каналья, врешь!.. Я тебе овчину-то натреплю...

При этом отец ловит Егорку за вихор и обижает его. На другой день отец все припомнит; ему совестно, он не знает, как и взглянуть на Егорку, как приступить к нему. Отец молчит, и сын молчит; у обоих лица пасмурные. Под вечер, выглянув исподлобья, отец сказал:

— Полно, Егорка; ну тебя...

— А! Теперь и рожу в сторону!.. Стыдно небось стало?.. А ты не дерись!..

— Да ну тебя...

— Ишь нарезался, на стены лезет!

Отец замолчал. Прошло несколько мучительных минут. Отец тяжело вздохнул на всю комнату. Егорка выглянул сердито и сказал:

— В лавочку, что ли, надо? Давай! Чего молчишь-то? Тут нечего молчать!..

Такая уступка со стороны Егорки служила шагом к примирению, и у отца отлегло от сердца. Впрочем, случалось, что отец и в трезвом виде давал своему сыну потасовку. Заспорят иногда: отец хочет киселя, а сын каши; отец закричит: «Молчи!», а сын отвечает: «Чего молчи? Я тебе дело говорю». Отец и натрясет ему вихор. Только тогда уже отцов верх, и Егорка не знает, как подойти к нему. Но ссоры редко случались; отец большею частью соглашался, что «каша не в пример лучше киселя», тем дело и кончалось.

Слесарь был человек безграмотный; знал он свое ремесло, несколько молитв на память и без смысла, много песен и много сказок; работу он любил и часто говаривал: «Бог труды любит, Егорка», «Кто трудится, свое ест». Вот и весь нравственный капитал, который он мог передать своему сыну. Бог знает, что бы вышло впоследствии из мальчика? Вероятно, второй экземпляр отца, слесаря Ивана Иванова Молотова.

Но судьба готовила ему иную жизнь. Егорушка скоро лишился отца. Тогда один профессор,

по имени Василий Иванович, — а фамилию не скажем, — у которого слесарь работал и которому понравился сын его, взял Егорушку к себе. Василий Иванович был странный старик, и судьба его была странная. Смолоду ему трудно было победить науку, но он победил ее; хворал от бессонных ночей, но все-таки взял свое, веря в истину, что терпение и усидчивость все преодолевают, что в терпении гений. Он в прежние годы даже водку пил на том основании, что умный человек не может не пить; не любил женщин — тоже на ученых основаниях; был неопрятен, рассеян, нюхал табак. Он довольно поработал на своем веку, много перевел немецких и французских книг, а некоторые из его статей и теперь еще имеют значение как материалы. За наукою он так и позабыл жениться. Но чем он становился старше, тем делался опрятнее, водки терпеть не мог и с завистью смотрел на женатых людей. Жизнь, построенная на ученых основаниях, сказала; ему хотелось наверстать бессемейность, и он полюбил своего воспитанника страстно. Беда к старой деве попасть на воспитание, но если старый холостяк полюбит ребенка, то он полюбит его горячо: так бабушки любят своих внуков. И Василий Иванович скоро превратился в бабушку, — и то умная была бабушка, хотя довольно старопечатная, древнеславянская. Егор Иванович как теперь видит честное лицо старика, его широкий лоб в морщинах, его добрые глаза под синими очками. Но Егорушка не сразу сошелся с своим воспитателем; он слушался его во всем, учился прилежно, но все дичился чего-то и боялся: сам не вздумает подойти к старику, а все надобно позвать; не приласкается к нему, ничего не попросит; капризов никаких; всегда скромненький, тих и застенчив. Старик заметит ему что-нибудь — без строгости, ласково и осторожно, чтобы не обидеть, а мальчик все-таки испугается, съежится и потом усиленно следит за каждым своим шагом. «Что это значит?» — думал с беспокойством старый человек. А дело было очень просто. То же бывает в сельских школах: он в глазах ребенка был «на барина похож». Если учитель говорит ученикам-мужичонкам: «Эй вы!.. Тише!.. Слушай!.. Когда входите в школу, то сапоги, а у кого их нет, то ноги — вытирайте в сенях; в ладонь не сморкаться; на улице должны мне шапку снимать; не говорить мне ты, а вы», и т. п., что найдет он нужным заметить, — поверьте, школьник-мужичонко редко заставит повторять сказанное, почти всегда сразу запомнит и потом строго следит за собою. Как бы то ни было, учитель, если он только не деревенский дьячок, все же ходит в сюртуке, подчас в шляпе и с тростью в руках; значит, он на барина похож, а барина мужичонко слушает полным ухом. Сначала и Егорушка с тем же чувством относился к своему воспитателю. Кроме того, у Егорушки не было товарищей. Потребность товарищества для детского сердца старый человек опустил совсем из виду, и понятно, что вначале Егорушке тяжело было, дико было среди комнат профессора, которые ему казались уже очень чистыми и громадными после отцовской конуры. Ему хотелось бы повидаться с Микиткой беспалым, с которым он познакомился в кабаке, куда, бывало, отец посылал его за вином, повидаться с Лешкой столяровым, с Машуткой-подкидышем, которой он покровительствовал и за которую часто дирался с уличными друзьями; хотелось бы, задравши лихо рваный козырь на шапке, запустить свинчатку в кон; часто ему чудился молот наковальни, визг железа и меди; его тянуло за церковную ограду, куда целыми стаями собирались оборванные дети. Потому-то он иногда где-нибудь в углу плакал потихоньку, чтоб никто не видел; он любил заходить в кухню к лакею профессора, человеку старому, как сам профессор, — там ему было привольнее.

— Что ты, Егорушка, все скучаешь? — спросил его однажды слуга.

— Домой хочу, — ответил мальчик и вдруг разрыдался.

— Что ты?.. Что ты?.. Бог с тобой! — говорил оторопевший слуга. — Ведь ты теперь барчонком стал.

Мальчик плакал...

— Ну, на, голубчик мой, съешь вот это, съешь, Егорушка.

Лакей гладил мальчика по голове и совал ему в рот кусок сахара; но тот все плакал.

— Эка беда! — сказал лакей и пошел позвать профессора...

— Домой хочу, — твердил Егорушка и Василью Иванычу.

— А у меня жить не хочешь? — спросил старик.

— Не хочу.

Крепко задумался профессор...

— Ведь здесь лучше, Егорушка!

— Нет, дома лучше...

— Пойдем же домой, — сказал старик...

И вот пришли они на старую квартиру, где прежде Егорушка жил с отцом. Там теперь поселился сапожник, все переменялось; мальчик не узнал своего старого гнезда.

— Сходимте на ограду, — попросил он.

И здесь Егорушка не встретил никого из старых знакомых... Тогда Егорушка остановился с недоумением, подумал, взглянул пытливо на профессора и потом застенчиво, потупясь в землю, шепотом сказал:

— К Машутке сходимте...

— К какой Машутке?

— Вон там живет...

Старик подумал, покачал головой, однако согласился... Но оказалось, что Машутку отдали в науку, на другой конец города. Тогда-то понял Егорушка, что старая жизнь никогда не воротится, нигде ее не отыщешь, пропала она. Мальчик инстинктивно прижался к старику. Это тронуло старика.

— Ты мой теперь, Егорушка, — сказал он.

Много было доброго, стариковского чувства в этих словах. Егорушка невольно поддался их влиянию и с той минуты стал доверчив к старику и полюбил его. Они весь вечер провели вдвоем. Егорушка рассказывал о своей прежней жизни, и профессор подивился, как сильно был привязан этот мальчик к своему углу, к отцу, старым товарищам и играм.

С тех пор старик внимательно следил за Егорушкой, слушал его рассказы, выпытывал его понятия и наклонности и скоро увидел, что мальчик имел доброе сердце и хорошие способности, но грубоват, неотесан, с дикими понятиями о боге, людях, жизни и природе. Старик стал проводить с ним вечера, рассказывал совершенно о ином боге, какого он и не знал до сих пор; ему не верилось сначала, что бог совсем не тот старик, которого он видел на иконе. То же самое случилось, когда старик усердно и радушно старался объяснить ему явления природы и рассказывал об исторических лицах и событиях. Многие внушения и взгляды впоследствии, когда Молотов развился, отведал новой науки и стал самостоятельно вглядываться в природу и жизнь, были отвергнуты им: тогда снова, в третий раз, он увидел, что бог и люди совсем не то, что он думал; но теперь все было для него в речах старика поразительно и ново, он увлекался, для него открылся новый, до тех пор неизвестный, роскошный нравственный мир. Недолго совершалась борьба в детской душе; Егорушка скоро бросил старую жизнь. Он не перестал любить своего отца, старых знакомых и товарищей, но ему жалко было их, и он усердно молился за них богу. Иному невероятным покажется, что в

детской душе на двенадцатом году жизни могла бы совершиться серьезная моральная борьба, какая бывает в душе юноши. Да, невероятно, потому что мы родились в более или менее образованной среде, и многие истины приняли обыденный характер в нашей жизни; а неужели вы думаете, что двенадцать лет невежества легко уступят новой жизни? Он до сих пор помнит, каких мучений моральных и сомнений стоила ему та истина, что не Илья-пророк производит гром. Ничего сразу не давалось, ничему новому не верилось, его не тому учил отец. Спорить с профессором он не мог, сил не хватало, но его детские убеждения были органическими убеждениями, вошли в него с молоком матери, развились под влиянием отца. Потому и совершалась в его душе борьба серьезная, с болью, хотя исход она получила скоро, потому что Егорушка был молод, а старик умен и вкрадчив. Нравственная работа принесла пользу Молотову: он научился не верить старине и авторитету, — и то, что нами в молодости принимается на слово, вот так, как он принимал на слово, что Илья гремит на небе, у него было переварено собственной головой; он привык к самостоятельности, к умению отрешаться от ложных взглядов. Он стал человеком, способным к развитию, и потому-то впоследствии он бросил многие убеждения, воспитанные в нем стариком: у него стало на то силы; но он не посмеялся над стариком, потому что когда-то верил ему. Мальчик любил науку; он инстинктивно чувствовал, что чрез нее только станет человеком, потому что он не был породистым мальчиком. Старик радовался, глядя на ребенка, как он усидчиво занимается книгой, и чрез год нельзя было узнать в Егорушке прежнего Егорку — грязного, оборванного, босоногого, из уст которого нередко слышалось площадное, бранное слово. Микитка беспалый, увидав его, не поверил бы, что этот мальчик, так прилично, по-барски одетый, так скромно идущий по улице, был слесарский Егорка, прежний друг его закадычный. Перемена в жизни Егорушки, очевидно, была к лучшему. Но у него по-прежнему не было игрушек, дамочек фарфоровых и гусаров деревянных, бубенчиков и лошадок, барабанов и солдатских киверов; он после уроков что-нибудь строгал, лепил или рисовал; страсть к таким занятиям у него осталась навсегда. Если же ему не хотелось ничего мастерить, он уходил в кухню к лакею, или садился у камина и смотрел в огонь, или же был подле старика. Эта уединенная жизнь в товариществе старых людей, редкие ученые гости, редкие выезды, причем мальчик на короткое время виделся с другими детьми, отсутствие женщин, серьезные речи положили особый отпечаток на личность дитяти. Жизнь в кабинете старика сделала его застенчивым, против чего он после долго боролся. Он остался несколько угловат и неловок, тем более что и сам профессор не был светским человеком. Егорушка был не по-детски серьезен, но в то же время у него не было идеальной худобы в теле и бледности в лице; это был не замороженный мальчик; он был очень здоров.

Быстро пролетел гимназический курс. Молотов вырос, развился, но, в сущности, жизнь его мало переменялась. Он стал больше ростом и учнее, с товарищами мало сошелся, в гимназии был только во время классов, считался умным мальчиком и шел в первых учениках. Только за полтора года до университета он узнал дружбу, коротко сблизившись с сыном одного чиновника Андреем Негодящевым. Они оба попали в университет казеннокоштными студентами. Дружба их была оригинальная; их называли «непримиримыми друзьями», потому что они постоянно бранятся и спорят между собою, а одни без другого жить не могут. Бывало, придут после лекции, станут читать какого-нибудь поэта или философскую статью, заспорят, раскричатся, дело коснется личностей, обоим заберет самолюбие, начнутся насмешки, чуть не брань. Как ужиться при подобных условиях? Но в следующий раз они опять встречаются с радостью и, нисколько не стесняясь, сообщают один другому всевозможные вопросы и все личные взгляды, и это не по обязанности, что друзья должны быть откровенны, а просто им не удержаться было от разговора. Оба они не любили пресной дружбы, а потому часто они выводили один другого на свежую воду. Профессор удивлялся их ярким речам; иногда вставит и свое слово; тогда оба дружно сцепятся со стариком, начнут доказывать отсталость его идей. Добродушный Василий Иванович замахает руками. «Ладно, ладно! — кричит. — Мы стары!.. Где нам?» — «Так что ж такое, что стары?» — напустятся на него студенты. «Отстаньте!» — ответит им старик, закроет уши руками и уйдет в кабинет. Наши друзья продолжают воевать. И как могли сойтись эти совершенно противоположные характеры?

Один был сын мещанина, другой чиновника; один вырос в большой семье, между братьями и сестрами, другой в товариществе старого профессора. Молотов любил говорить о широких началах, общемировых идеях и замогильных вопросах; «жизнь, природа, человечество» — на этих предметах постоянно вертелись его мысли; он смотрит идеалистом, хотя, странно, он всегда осторожен, аккуратен, осмотрителен, и всегда у него есть деньги; Негодящев же терпеть не мог общих рассуждений, говорил все о карьере, называл себя практическим человеком, хотя и часто бывал без денег, любил кутнуть и иногда пропускал лекции, необходимые для студента. Негодящев был на юридическом факультете и говорил, что он пойдет в чиновники; Молотов — на историческом и никогда не думал, что из него выйдет. Негодящев был ловок, речист, иногда лгал немного, мастер подделываться под характер людей; он был франт и всегда одет щегольски; а Молотов — тяжел, говорил много — не когда угодно, а лишь в минуту увлечения, прям был на слова и резок, неподатлив; на нем мундир сидел не так ловко. Молотов не сразу усваивал принципы новой жизни, но они крепко вращались в его душу; Негодящев увлекался быстро. Негодящев уже успел влюбиться и поклясться дочери одного чиновника в вечном и пламенном чувстве, в чем и сознался другу в задушевной беседе; а друг отвечал, что он не понимает еще этого чувства, что он мало видал женщин и совсем их не знает. Негодящев говорил, что он довольно опытный человек и людей несколько знает. Негодящев был более пессимист, а Молотов — оптимист. Они и наружностью не похожи: Негодящев высокого роста, бледнолицый, черномазый и с волосами до плеч, а Молотов среднего роста, плечистый, с румянцем на широком лице, коротко острижен, глаза у него серые... Так, по законам дружбы, существующих искони, сошлись между собою люди противоположных характеров. Но дружба, основанная на этих законах, редко бывает прочна и кончается добром; такая дружба обманчива, ее разъедает постоянное противоречие, в ней зреет вражда. Случилось то, что часто случается с такими друзьями: Молотов попрекнул чем-то Негодящева, и они разругались не на живот, а на смерть. Тогда Молотов испытал ту молодую ненависть, когда вчерашний друг представляется ни больше ни меньше как гадиной, оскверняющей человечество, когда думается, что самое ужасное наказание другу — презрение к нему, хотя друг то же самое думает, и когда оба рады примириться, только не хочется первому просить мира. Молотов и Негодящев воображали, что они ненавидели друг друга, а между тем они любили друг друга; они еще не знали, что значит ненавидеть.

Тогда же с Молотовым случилось и другое несчастье. Его старик опасно занемог. Молотов дни и ночи проводил у постели больного. Горькое настало время. На шестнадцатый день старый человек сказал Молотову:

— Скоро умру, Егорушка... вся грудь высохла... не забывай меня... поминай...

Молотов наклонился и поцеловал его руку.

— Утешил ты меня, Егорушка... спасибо... и я тебя любил...

Молотов заплакал.

— Полно... не плачь... что ж делать? — говорил шепотом умирающий. — Пора!..

Старик тоскливо посмотрел на Молотова. Потом он стал говорить о завещании, — это самая бывает трудная и мучительная минута для присутствующих, когда человек актом, на гербовой бумаге совершенным, отказывается от всех прав собственности и власти, какие успел приобрести во всю жизнь свою... Молотов рыдал, а старик говорил, что у него есть статьи, приказывал отослать их в Москву, деньги за них назначил на раздачу нищим, велел помянуть Евдокию, сестру его, умершую давно уже, и давал предсмертные увещания:

— Честно живи, Егорушка... богу молись... старших почитай...

Потом больной велел принести образ и, благословивши своего воспитанника, забылся на

время. Молотов отошел к окну и долго смотрел бессмысленно на улицу. Чувство сильного горя и одиночества охватило душу восемнадцатилетнего юноши. «Один во всем мире!» — эта мысль подавляла его душу, жала мозг его. Но... настала развязка старой жизни. Молотов подошел к постели: старик лежал неподвижно; глаза были открыты...

— Добрый мой учитель, — прошептал Молотов, поцеловал его в лоб, поцеловал его руку и закрыл глаза.

Долго он смотрел в лицо мертвому — оно было спокойно и безответно.

На третий день похоронили профессора. На похоронах была все ученая братия, все старики, один лишь молодой человек — Молотов, и ни одной женщины. Помянем добрым словом человека доброго и немало потрудившегося на веку своем...

Наследства Молотов получил около четырех тысяч ассигнациями, большую часть мебели он продал, переехал на новую квартиру, где и повесил портрет старика над диваном. На новой квартире скучно проходили каникулы. Молотов пошел однажды к товарищу, Череванину, о котором говорили, что он «с философским направлением» (мы с ним встретимся еще), и у которого любили собираться студенты. Здесь он встретился с Негодящевым. В душе Молотова шевельнулось все доброе старое, слезы стали к горлу подступать. Негодящев отвернулся в сторону. Молотов первый заговорил:

— Андрей, полно злиться...

Что, если бы его оттолкнул Негодящев? Но этого быть не могло. Возвращение от вражды к дружбе было внезапно. Негодящев бросился на шею к Молотову. Они поумнели, вспомнили вражду, хохоту было немало.

— Андрей, — сказал Молотов, — мы теперь будем осторожнее.

— А что?

— Опять поссоримся.

— И помиримся опять — вот и все.

— Опять переедаться будем?

— Будем.

— Ну, как хочешь.

Тем и кончили. Быстро понеслось время. Теперь только, на втором курсе, Молотов сошелся с товарищами. Его полюбили. Молотову прекрасными людьми представлялись товарищи — бодрые, смелые, честные, за общее благо готовые на все жертвы, оригиналы. Не думалось тогда Егору Иванычу, что многие из них потеряют и бодрость, и смелость, и оригинальность, и способность к жертвам, а некоторые даже... и честность. Но тогда верилось и жилось хорошо. Вообще он мало знал жизнь; у него было мало знакомых: знаком он был с семейством Негодящева и с семейством еще одного чиновника, Игната Васильевича Дорогова, с купцом, у которого учил сына, да с хозяйкой своей квартиры. Он жил товарищеской и университетской жизнью. Между тем Молотов никогда не имел претензий на ученую или художественную карьеру; ему придется действовать в чисто практической сфере, одному, без друзей, без родни, без знакомых, без ясного сознания цели в жизни, но с детски ясным взглядом на мир божий. Как-то он будет жить в людях с подобною подготовкою?

По окончании курса Негодящев уехал в губернию на службу. У Молотова от наследства остались кое-какие крохи, и он несколько времени промышлял в столице дешевыми уроками

и вот уже три месяца живет у помещика Аркадия Иваныча Обросимова.

С балкона барского дома открывается во все стороны прекрасный вид: деревня в яблонных и липовых садах; направо, налево виднеются еще деревушки; на горе церковь, отовсюду леса, пашни и луга; к западу бежит речка — небольшой приток Волги. Тишина стоит в воздухе; природа облита заревом вечернего солнца. На балконе Егор Иваныч Молотов и Елена Ильинишна Илличова — молодой человек и молоденькая, хорошенькая девушка; значит, повесть начинается. Они смотрят на дорогу, на дороге поднялась пыль, слышны голоса животных, идет стадо с поля; с другой стороны шлепает огромное стадо гусей и уток — все это повалило мимо барского дома. Леночка имела полное право сказать:

— Какая поэзия!.. Прелесть!..

Молотов молчал.

— Посмотрите же, Егор Иваныч...

— Где поэзия? — спросил он.

— Да вот — стадо.

Молотов усмехнулся.

— Ну какие вы! — сказала Леночка.

— Что же?

— Тут чувство нужно, а нечего умничать.

Молотов уклонился от разговора о поэзии. Он, несмотря на то что был юноша двадцати двух лет, не часто говорил об интимных предметах и важных материях. «Говорить о таких вещах, — думал он, — так говорить серьезно». А серьезно говорить приходилось редко. Он боялся фразерства и потому не проповедовал новых идей, не кричал о прогрессе, редко позволял себе нежные слова и возвышенные речи, хотя в университетском кружке, а особенно с Андреем, он, бывало, спорил до слез и до глубокой ночи о том самом, о чем теперь он смалчивал. Он стеснялся завести с женщиной разговор о ее призвании, о поэзии, о любви; он никогда не был влюблен, читал о любви, слышал, размышлял о ней, но сознательно не понимал любви и потому боялся наговорить о ней вздору. Он вообще не любил петь с чужого голоса, проповедовать заученное, кидаться из стороны в сторону, находясь под влиянием только что прочитанной статейки. Заговорят, например, о любви, и кто-нибудь обратится к нему за мнением, он всегда как-то съезжится и неловко уклонится от ответа, не потому, чтобы считал разговор о таком предмете пустым или неприличным, а по какой-то непонятной застенчивости, робости и стыдливости, хотя он и не был тем, что называется «красною девушкою». Боясь инстинктивно говорить о высоких предметах, он в то же время не мастер поддерживать дамский вздор и дребедень, хотя бы и не прочь от того: «Что же, не все серьезное: наука, да искусство, да восход солнца», а потому в обществе держался ближе к мужчинам и пожилым дамам. Самая фигура его показывает, что он не создан дамским кавалером. Егор Иваныч был среднего роста, плотно сложен и широк в плечах, несколько сутуловат; его нельзя назвать красавцем, но выражение лица доброе, и в серых огромных глазах светился ум; лоб большой, ноздри широкие, крупные губы плотно сжаты, подбородок выдался вперед. Он казался мужественнее своих лет. Егор Иваныч имел большие руки, сильные и мускулистые, с толстыми пальцами и коротко остриженными на них ногтями; ступня ноги была большая. Внешние приемы его не были безукоризненны: походка тяжеловата, с перевалом и крупными шагами; французский язык знал, но имел плохое

произношение, потому и воздерживался от этого элегантного диалекта; он смеялся слишком громко, стеснялся при женщинах в первую минуту, а потом говорил с ними, как с мужчинами, вставляя часто словцо, нетерпимое в дамских речах. Но он не был циник, был опрятен и чистоплотен, любил порядок и немало сокрушался о своих внешних недостатках. Но эти недостатки обнаруживались сами собою, особенно когда он, увлекшись, не вытерпит и заговорит, как прежде, в кружке товарищей: тогда, в монологах, его голос поднимался несколькими нотами выше, но лишь только ему возражали, он выслушивал спокойно, отвечал хладнокровно, и чем более направляли на него насмешек и острот, тем он становился хладнокровнее, заметно сдерживая себя и сосредоточиваясь. Он в этих случаях был очень деликатен, на остроты не сердился: смешно, так и сам смеялся, но терпеть не мог, когда не давали человеку высказываться. «Зачем говорить с человеком, если его самого не выслушивать? Он тогда ничего не поймет», и потому голос его тогда лишь поднимался, когда его была черед говорить. Он не любил горлом брать. Однажды к Обросимову заехал один помещик, человек с авторитетом и во всем околотке считавшийся умным. Он разговорился с Молотовым, скоро напал на современную тему, взял молодого человека за пуговицу и целый час развивал свои идеи. Молотов целый час усиливался вставить свое слово; авторитет закричит: «Помилуйте, как этого не понять?» Молотов продолжает слушать, но лишь улучит минуту и вставит свое слово, помещик опять кричит: «Помилуйте, как этого не понять?» — и продолжает сыпать снова. Наконец авторитет истощился, и последние слова его были: «Кажется, ясно?» Молотов ответил: «Ясно, но у меня есть

свои возражения». — «Помилуйте, какие же могут быть возражения?» — «Может быть, неосновательные, но если они останутся, то я все-таки...» — «Могут ли они быть основательными?» — перебил его помещик и перешел к новой теме. «Зачем же он говорил со мной?» — думал Молотов и назвал его в душе болваном, хотя помещик говорил неглупо и с этим соглашался и Егор Иваныч. Зато с самим Егором Иванычем говорить было легко... Леночка не первый день знакома с Егором Иванычем. Она часто бывает у Обросимова, своего крестного отца, и не раз проводила время с Молотовым; он тоже бывал в гостях у матери Илличовой. Леночке случалось слышать, как Молотов, подавив в себе застенчивость, увлекался разговором. Она однажды прямо ему сказала: «Я люблю, когда вы говорите», после чего он постарался замять разговор. У Леночки и сегодня явилось невинное желание вызвать Молотова на разговор. Желание не исполнилось.

На балкон вышел Аркадий Иваныч с дочерью Лизаветой Аркадьевной. Лизавета Аркадьевна была женщина высокая, стройная, красивая. Она года полтора назад лишилась мужа, директора одного из петербургских департаментов. Вдова приехала к отцу гостить весну и лето. Скоро вбежал на балкон Володя, сын Обросимова, а наконец явилась и сама хозяйка, Марья Павловна. Аркадий Иваныч предложил прогулку на воде; все были согласны и минут через двадцать сидели в лодке. Молотова просили грести. Под его руками лодка пошла быстро. Речка бежит среди липового леса и яблонь, отряхивающих розовые цветы в ее тихую воду.

— Вы устанете, — заметила Марья Павловна.

— Ничего-с, — ответил Молотов и в один прием подвинул лодку на полсажени.

— Я люблю быструю езду, — сказала вдова, — она — как все сильное, энергичное, выходящее из ряда обыденных...

В это время лодка на повороте реки обогнула угол, и неожиданно из-за яблонь солнечные лучи ударили прямо в глаза гребцу, чт

о заставило его опустить весла. Когда женский страх прошел, все стали смеяться.

— Вам солнце мешает, — сказала Леночка и защитила его зонтиком.

Леночка быстро овладела разговором, с удивительной легкостью переходила с предмета на предмет; рассказала, как она тонула однажды; что у них новый дьячок; про козу свою рассказала; от козы перешла к дяде, к няне, подругам; после этого ей ничего не стоило заговорить о цветах, о новом платье; а чрез несколько минут она говорила, что терпеть не может пауков и тараканов, что она любит толстые пенки на сливках, клубнику и запах резеды. Черноглазая болтуня была неистощима. Лизавета Аркадьевна смотрела на Леночку пристально, наблюдала ее, изучала, как любила выражаться, нарочно вызывала на болтовню, причем и делала тонкие иронические замечания. Егор Иваныч видел, что Обросимовы об Илличовой имели понятие как о девочке пустой и легкой. Только отец поддерживал свою крестницу и гостью и, казалось, понимал ее иначе. Леночка не догадывалась, что над нею смеются и с намерением заставляют говорить.

— Я завидую легкости вашего характера, — сказала Лизавета Аркадьевна с едва заметною улыбкою.

— Я веселая!.. — отвечала простодушно Леночка и при этом ударила в ладошки.

Проехали еще около версты и потом положили вернуться домой. Молотов повернул лодку; ее понесло вниз по теченью. Он сложил весла.

— Папа, позвольте мне править.

Обросимов уступил дочери руль. Она довольно верно повела лодку. Когда доехали до деревни, где жила Леночка, она просила остановиться. Высадили ее на берег, простились и отправились дальше. Немного погодя Лизавета Аркадьевна сказала:

— Кисейная девушка!

— Лиза! — начал с упреком отец...

— Да что, папа! — перебила Лизавета Аркадьевна. — Ведь жалко смотреть на подобных девушек — поразительная неразвитость и пустота!.. Читали они Марлинского[1], — пожалуй, и Пушкина читали; поют: «Всех цветочков боле розу я любила» да «Стонет сизый голубочек»[2] ; вечно мечтают, вечно играют... Ничто не оставит у них глубоких следов, потому что они неспособны к сильному чувству. Красивы они, но не очень; нельзя сказать, чтобы они были очень глупы... непременно с родимым пятнышком на плече или на шейке... легкие, бойкие девушки, любят сантиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных, кисейных созданий!..

— Ты Леночку не знаешь, — сказал отец, — оттого и говоришь так. Она девица очень добрая.

— Добрая? — ответила дочь с досадою. — Знаю, очень хорошо я это знаю. Они все у нас добренькие: всегда спасут муху из паутины и раздавят паука...

— Я тебе советую познакомиться с нею покороче; тогда ты ее полюбишь...

— Я ее и теперь люблю, папаша, разумеется, как можно ее любить... как птичку... цветок... как хорошенький узор... не больше... Она не способна отвечать на привязанность глубокую, на страсть сильную...

— Держи от берега дальше, Лиза: там очень мелко.

— Хорошо, папа... Скажите, чем можно привязать ее? Подарить фунт конфет? Шелковое платье?

— Жениха хорошего, — сказал Обросимов.

— Что, папа?

— Хорошего жениха... только не дари ты ей портрета Жорж Занда.

— Вы, пожалуй, правду сказали. Да, для этих девушек одно спасенье — в женихе... Пока не замужем, они мечтают... вы думаете, об идеале? Нет, о душках, и между тем очень хорошо понимают, что вся цель их стремлений — жених, о чем и хлопочут мамы и папы... душка сам по себе... Да и к душкам своим эти девушки имеют какие-то странные отношения: они не способны ни к какому решительному шагу, они не полюбят без позволения папы...

— У ней, Лиза, нет отца.

— Все одно — мамы.

— Мама она не боится, потому что командует всем домом. Как же это, Лиза, не зная человека, говорить о нем? Могла ли ты так скоро понять Леночку?

— Она дала мне три сеанса — этого довольно: ее портрет я могу написать во весь рост... Я пыталась развить ее...

— В три сеанса?

— По крайней мере понять, может ли она развиться. Бывают натуры нетронутые, а эти? Кисейная девица, девица-душка!

— Лиза, ведь ты бранишься, — сказал отец. Лизавета Аркадьевна вспыхнула.

— Я знаю Леночку лучше тебя, — продолжал Обросимов, — она умная и добрая девица, только необразованная и держать себя не умеет — в этом не она виновата... Наконец, ты не имеешь права говорить так резко о Леночке...

— Почему же, папа?

— Потому что ей жених нужен, пойми ты это.

— Фи, какие понятия!

— Самые здравые понятия. Ведь она неспособна к страсти глубокой? Да? Сама сказала, что для таких девушек — одно спасенье в женихе... Так не сбивай же ее, пожалуйста, с толку, не навязывай ей того, к чему она неспособна!.. Зачем это?.. Оставь ты ее в покое... А то ведь «кисейная девица», «душка» — это такие выражения, что могут испортить ей репутацию...

— Но, папа, могу же я иметь свое понятие о ней?

— Не совсем...

— Как так?

— О девушке не только мужчина, но и женщина должна выражаться осторожнее; между девушкой и женщиной большая разница.

— Разумеется, большая: девушке жениха нужно.

— Непременно-с...

— Отчего же, папа, после этого не сказать и так: о мужчине не только женщина, но и мужчина не должен говорить худо, потому что ему невеста нужна?.. То же самое, папа!..

— Совсем не то, нисколько не похоже... Впрочем, Лиза, оставим этот разговор...

— Отчего же, папа?

— Ну, мне неприятно продолжать разговор... оставь, пожалуйста...

Лизавета Аркадьевна замолчала. Близко была Обросимовка.

— Этак говорить нельзя, — прибавил отец, — и твоего Жоржа Занда можно на смех поднять.

— Ведь мы оставили, папа, этот разговор...

Отец замолчал. Лодка причалила к берегу. Все отправились домой. Но Обросимов не утерпел и прибавил еще:

— Тебе хочется жить по-своему, и другим хочется. Что тебе за дело до Леночки? Пусть живет как знает...

— Ах, папа!.. Это скучно наконец, — ответила дочь.

Тем и кончили. Обросимов пошел с женой и сыном, а Лизавета Аркадьевна подошла к Молотову. Молотов был согласен с принципами вдовы, но не хотел согласиться относительно Леночки. «Она, кажется, не такая, — думал он, — если она неразвитая, так развеите; не можете, нельзя, так не троньте». Так он сумел согласиться с обоими спорившими...

— Какой чудный вечер! — сказала Лизавета Аркадьевна, и, начав с этого, она незаметно разговорилась, припомнила другие вечера, проведенные ею некогда в Италии; потом вспомнила Жорж Занда, а там перешла к Татьяне Пушкина — Татьяну побранила за то, что она не отдалась Евгению, который оттого и погиб. Много о чем говорила вдова... Егор Иваныч больше молчал; Лизавета Аркадьевна не то чтобы разговаривала с ним, а больше поучала его, хотя он и не догадался о том. Когда они расстались, Молотов подумал: «Какая разница бывает между женщинами — Леночка и Лизавета Аркадьевна!.. Положим, Иллихова — кисейная девушка, а эта? Не знаю. Только с каждым днем я убеждаюсь, что попал к добрым людям...»

Егор Иваныч отправился на крыльцо. Здесь он сидел один-одинешенек, опершись подбородком на ладони и глядя на длинные седые облака, которые еле тянулись по небу... Настали сумерки; горит заревом лишь то место, где закатилось солнце... Он сидит, ни о чем не думая... Ветры утихли, спать легли; дневные птицы молчат, а ночные не подали еще своих голосов; одни насекомые наполняют воздух жужжаньем, свистом и стрекотом, да кричат играющие ребятишки — где это: у реки или на задах?.. Промычала корова... раздаётся плач ребенка: «Ой, бойно, бойно; мамка, бойно!» — чего он плачет?.. Какие-то неуловимые звуки, неопределенные: то будто шум пронесется в воздухе; не было ветру, а вот покачнулась береза; в ухе звенит... Все становится темнее и темнее... тихо... но вдруг набегаёт чуть заметный ветерок; он отстал от майских братьев своих, а братья ушли туда, где спряталось солнце. Это он поднял из саду запах сиреней и тополей; от него, как мошки, полетели лиловые цветы и осыпали дорогу, крыльцо и плечи Молотова. И сидит Егор Иваныч и глядит — чего он тут глядит? Он, отдаваясь безотчетно природе, сливается с нею и в свою очередь составляет одно из явлений ее. Вон и старуха целый час глазеет из своей избушки и на Молотова, и на облака, и на кресты кладбищенские, и на туманную полосу воды на западе; и Обросимов глазеет из своего окна; и кляча, вытянув шею и положив на изгородь морду, тоже глазеет на все окружающее. Все сливается в одну картину, в единую жизнь природы, в которой всякое мелкое явление, всякая былинка, звук, вздох и шорох поют вместе с вами что-то кроткое, тихое, душевное, благоуханное... Совсем сливаются предметы... По реке, по горам встали длинные, безобразные, громадные тени... Что это?.. Чудная птица, стоголосый соловей пустил над рекою свой яркий, сладострастный рокот. Долго поет прекрасная птица, а

река спит под темно-голубыми небесами, спит деревня, леса, поля и теплый воздух; заснули люди и животные... и соловей задремал... тише... тише... Озноб пробежал по телу; брезжит утро; загорается ранняя заря, а с ней опять майская жизнь... Так совершаются в природе майские погоды, цветут весенние звезды, темно-голубые и темно-синие ночи и первые зори!.. Все это наше!.. Будем гулять, охотиться, купаться и, измаявшись, поужинаем с деревенским аппетитом и заснем здоровым сном на сеннике... Вот и отжит день; он уже никогда не повторится в жизни: не те будут цвета и подробности, не тот смысл дня. Но жалеть ли о нем? Нет, пусть идет себе жизнь... А ведь хорошо жить на свете? — Хорошо. Ну, и пусть его хорошо.

...Мы не сказали еще, зачем и на каких условиях Молотов живет в Обросимовке. У Аркадия Иваныча была заматерелая тяжба, которую он непременно хотел покончить — так или иначе; для этого дела ему нужен был человек, который бы следил за тяжбою, ездил в город, сносился с чиновниками, потом ему хотелось составить подробную ведомость своему имению; потом надобно было привести довольно большую библиотеку в порядок и составить ей каталог. Когда Молотову предложили заняться всем этим за сорок рублей в месяц, причем предлагали готовый стол и комнату с отоплением и освещением, — он отказывался совершенным незнанием судейского дела и деревенской статистики; но его успокоили, обещая поучить на первых порах. После этого Молотов, долго не думая, продал все, что было у него движимого, оставив у себя только образок, которым благословил его воспитатель, портрет его, некоторые книги и вещицы, сосчитал несколько рублей в портмоне — и покатил в Обросимовку. Ему понравились и деревня и обитатели деревни. Он живет здесь около трех месяцев и успел познакомиться со всеми. Особенно нравился Молотову сам помещик; он был прекрасный хозяин, человек образованный, бывавший за границу. Крестьяне называли его «отцом родным» и благоденствовали сравнительно с крестьянами других помещиков. В числе более полутысячи его крестьян можно было насчитать около двадцати, ни разу не бывших жен своих, что, как известно, не у нас только редкость. Наказывать женщин он строго запретил, считая это варварством. Обросимов даже школу хотел завести, но как-то не собрался. Он слыл отличным соседом-хлебосолом и отличным семьянином. Человек он был пожилой, с красивым и умным лицом — такие лица бывают у некоторых наших бар, и именно бар деловых; спокойствие, уверенность в своих достоинствах, степенность и приветливость разлиты были во всей его фигуре. По крайней мере он таким представлялся Молотову.

Молотову легче было войти в свет, нежели другим образованным юношам темного происхождения. Он спрашивал себя: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» — и отвечал: «Нет тех лип!» Это много значило для него; он не был связан ни с какою почвой. Посмотрите на большую часть людей, которых судьба так или иначе выдвинула из среды своей, как они относятся к среде. Как часто случается, купецкий сын, получивши образование, ненавидит свое сословие: отвратительно для него купечество, все купцы негодны и пошлы, и никогда не прибавит, что им трудно быть иными и что он не сам собою, а чрез образование стал выше их. Или вот иной помещик: выдернут его из степи, привезут в столицу, обломают его понятия, пересоздадут натуру барскую, научат совершенно иной жизни — как он потом относится к степнякам своим? Послушайте вы семинариста, которому счастье благоприятствовало развиваться лучше собратьев своих: он зол на долбню, фискальство, формализм и прочую чепуху, копившуюся в родном гнезде веками... Все они — и дворянин, и купец, и семинарист — отвернулись от своих собратий: «О, как там пошло все!.. Дичь какая!» Откуда эта антипатия к родной грязи, которую человек только что успел от себя отскрести? Она понятна и законна. Как не возбудиться всей желчи, когда зло, понятое вами и отвергнутое, вы видите в самых дорогих вам людях, в том гнезде, где впервые узрели свет божий, где проснулся разум, заговорило чувство, воля попросила дел и работы? Отсюда для многих вытекают нелепые положения. Вот, например, у откупщика, скопившего тысячи при помощи мерзостей и подлостей, сын усваивает гуманные начала современной жизни, и что же выходит? — противны ему стены отцовского дома, а и жаль отца — ведь кровь родная!..

Вот и пойдет мысль ломаным путем, хочется во что бы то ни стало доказать, что незачем бичевать того, в кои зло совершается; что не лицо виновато, а закон, обычай, форма, предание, сок и кровь житейские и народные; среда нас заедает, внешние обстоятельства виноваты, действуют исторические причины... Но отчего же он? Отчего другие уцелели? — Неисходное положение! Молотов был происхождения темного, мещанского, но счастлив этот юноша: в нем не было разлада молодой жизни со старою, ему не пришлось жить в сословии, в котором он родился; он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство? — Нет тех лип». У Егора Иваныча никого и родни не осталось, и вышло так, как будто он и не был мещанского рода, хотя он и не думал от того отказываться. Он был счастливейший homo novus[3]. Все это дало ему особый отпечаток. Судьба, отстранивши от него борьбу, скрывши в далеком младенчестве его мещанскую грязь, дала ему светлый, невозмущаемый взгляд на себя; держался он спокойно, ровно, с достоинством; чувствовал себя честным и свободным так же, как чувствовал себя физически здоровым. Это же самое дало ему надежду на людей; он был снисходителен, он был оптимист и любил принакать к доброй стороне жизни, повсюду отыскивая искру божью. Зачем же он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» — и с грустью отвечал: «Нет их!» Но это была минутная грусть и минутное раздумье.

Однако оправдывался ли его оптимизм? Ведь он жил в чужих людях. Положение человека, живущего в чужой семье в качестве ли учителя, секретаря, компаньона, приживальщика, в большей части случаев стеснительное, зависимое от нанимателя и кормильца. «Я тружусь, следовательно, независим, сам себя знаю и ни пред кем не хочу гнуть спины» — такая истина редко имеет смысл в наших обществах. Протекцию, деньги, поклоны, пронырство, наушничество и тому подобные качества надобно иметь для того, чтобы добиться права на труд; а у нас хозяин почти всегда ломается над наемщиком, купец над приказчиком, начальник над подчиненным, священник над дьячком; во всех сферах русского труда, который вам лично деньги приносит, подчиненный является нищим, получающим содержание от благодетеля-хозяина. Из этих экономических чисто русских, кровных начал наших вытекает принцип национальной независимости: «Ничего не делаю, значит — я свободен; нанимаю, значит — я независим»; тот же принцип, иначе выраженный: «Я много тружусь, следовательно, раб я; нанимаюсь, следовательно, чужой хлеб ем». Не труд нас кормит — начальство и место кормит; дающий работу — благодетель, работающий — благодетельствуемый; наши начальники — кормильцы. У нас самое слово «работа» происходит от слова «раб», хотя странно — мы и у бога не рабы, а дети. Вот отсюда-то для многих очень естественно и законно вытекает презрение к труду как признаку зависимости и любовь к праздности как имеющей авторитет свободы и человеческого достоинства. Существовал ли экономический национальный закон в отношениях Обросимова к Молотову? Если да, то как же Егор Иваныч мог сохранить светлый, невозмущаемый взгляд на себя? В том-то и сила, что скорее не существовал, хотя и нельзя сказать того вполне категорически, потому что когда же наниматель, хотя отчасти, не считает себя кормильцем? Но уже и то хорошо, что экономический закон действовал слабо, незаметно. Здесь скорее действовал какой-то другой закон. Обросимов относился к Молотову почти как к равному, ласково, добродушно, благодарил за всякую услугу, иногда советовался с ним по какому-нибудь делу, вводил в интересы свои, так что Молотову казалось, будто он не чужой в семье. Он не сразу дошел до такого убеждения, боялся навязываться и напрашиваться в «свои люди» в чужую семью; но помещик, как нарочно, давал ему случай оказывать себе услуги разного рода и чрез то сближаться с ним. Молотов посещал фабрику Аркадия Иваныча, в которой, разумеется, он не много смыслил, успел как-то заметить некоторые проделки управляющего и сообщил о них Обросимову. То была важная услуга, потому что помещик успел спасти при этом порядочный капитал. Молотову были благодарны. Однажды Егор Иваныч спросил, отчего это Володя не учится; ему сказали, что Володя учился, но теперь учителя нет. Жена Обросимова при этом выразила опасение, что мальчик многое перезабудет и ему опять придется начинать снова. Егор Иваныч с своей стороны выразил сожаление, что не имеет особенных педагогических способностей и что хотя и давал уроки в столице, но не по

призванию. Однако вышло же так, что он сам предложил заняться некоторыми предметами с Володей, пока не найдут учителя, за что Обросимовы опять ему были благодарны. Так существовал ли здесь национальный экономический закон? Напротив, едва ли не наниматель был в большей зависимости от нанимающегося. Все были ласковы и любезны с Молотовым. В деревне люди сближаются скоро, и Егор Иваныч, мало-помалу оставивши осторожность и боязнь навязаться чужим людям, стал незаметно для самого себя втягиваться в семейную жизнь Обросимовых; чужие заботы делались его заботами, точно он был член семейства. С Обросимовыми он ездил к соседям в гости и со многими из них познакомился. Плебейское происхождение пока не смущало Молотова. Ничто не тревожило его гордости. Он был молод, надежд впереди много, и, значит, Егор Иваныч вполне наслаждался жизнью.

И вот Молотов, сын столицы, который родился и вырос в ней, который жил в огромных каменных домах, никогда не видал деревни, не видал весны во всем ее цвете и прелести, не знал и семейной жизни, — он теперь в деревне, среди приволжской природы, в доброй, по его убеждению, семье... Поле, река, лес, деревенский воздух, полная свобода — все это давало Молотову еще не испытанные им впечатления. Мириады невиданных предметов представлялись его любопытству, и на первых порах глаза его разбегались. Он впервые видел, как сеют хлеб, сажают капусту, как распускается целый лес, ползет и лезет трава из земли, как сразу цветет вся окрестность, как живет деревенский обыватель. С изумлением останавливался молодой человек, когда высоко в воздухе неслись гусиные стада; иногда он долго прислушивался в лесу к шелесту листьев, голосам птиц и насекомых, ко всему лесному движению. Он с жадностью всматривался в невиданную им доселе жизнь и природу. Во всем этом резко выдавалась одна сторона его характера. — У нас есть тип особого рода людей, живых, подвижных, вечно занятых, тип человека хлопотливого, который все замечает, которому все надобно знать. Случалось ли вам встречать людей, у которых что вы ни спросите, они на все ответят вам; заговорите с ними о разных замечательных лицах, о картине, о цене на какую угодно вещь, где и как добыть тот или другой продукт, о том, что и вычитать нельзя и о чем говорят за углом и потихоньку, что угодно, — все до них как-то дойти успело. У людей такого рода много знакомых, в жизни их множество случаев, потому что они всюду нос суют. Понятно, что в полном развитии этот тип встречается в людях пожилых; иначе не может быть по самому свойству его. Такие люди вообще пользуются у нас уважением, хотя не скроем, что из них большею частью выходят пройдохи, народ ловкий, умеющий отовсюду извлечь высший процент. В них выразилась практическая сила. Молотов был застенчив и неловок, против чего он боролся сильно; такой недостаток иногда мешал ему сходить с людьми; потом, он образования реального не получил; но в нем все-таки были задатки типа, рекомендованного нами читателю. Очевидно, пройдохой его назвать нельзя, но, с другой стороны, трудно определить смысл его деятельности, самой разнообразней и неутомимой. Его постоянно можно видеть наблюдающим на поле, на фабрике, в городе, столярной, в мужицкой избе, на реке, в лесу, он умеет резать, точить, пилить, несколько рисует; технические занятия он всегда любил, хотя до всего приходилось ему доходить самому, потому что его не учили никакому мастерству. Загляните в его комнату: чего-чего тут нет! Модели, картины, книги, экземпляры из гербария, инструменты разного рода, цветы, скрипка, ноты, даже ружье, которым он не умеет владеть, но положил непременно выучиться. Иногда он берется за дело, которое совсем не по его способностям. Так, он любит музыку, но сам не может быть музыкантом; однако несмотря на то что у него пальцы онемели над грифом и струнами, он все-таки хотел добиться своего. По большей же части все ему как-то удавалось. Это натура упругая и терпеливая, что выражалось в самой фигуре Егора Иваныча. Многогранность и неутомимость дались ему от природы; такие качества не приобретаешь, не сделаешь, не купишь; это дар врожденный, — хотя и странно, что вся деятельность Молотова была без всякой наперед заданной мысли, без определенной цели: ему просто хотелось все знать и все сделать — вот так, как вам есть хочется; то была деятельность без принципа, потребность природы, «комплексия такая». Одно ясно, Молотов еще не определился; его натура нетронутая; мы видим в нем пока одну силу без приложения; его нельзя назвать практическим человеком; вся его деятельность есть не что иное, как

любопытность, продолжение учебного курса; он в настоящую минуту скорее идеалист, только с практическими задатками для будущего. Его все занимает: и поверье старой бабы, и рецепт деревенского лекарства, и песня Варламова[4], и рассказы об Италии, и рассада капусты, и критическая статья в журнале. Он еще не сформировался, не получил полный, законченный образ. Изредка он задумывается о роде службы, но мысль о ней как-то недолго удерживается в его голове. Она всегда заканчивалась рассуждением: «Еще успею, ведь мне всего двадцать два года».

Егор Иваныч встал поутру бодрый, свежий; купанье окончательно поставило его на ноги. Он часто в свободное время отправлялся в поход, путешествовал по лесам и полям, ездил по реке, посещал соседние деревни. Его занятия не определялись известным часом; иногда он занимался по делам помещика целые дни, почти без отдыха, ездил в город, копался в библиотеке, разбирал бумаги, ходил к приказчику, священнику, составлял ведомости; иногда же выдавалось у него много свободного времени. Сегодня он на лодке отъехал версты две с половиной и остановился у леса, где он вчера заметил одно место и хотел теперь снять с него вид. «Значит, он хорошо рисует, — спросит читатель, — когда решается снимать вид с природы?» Он не художник, однако набросать вид может, рисует только для себя; искусство приобретено им для домашнего обиходу; он учился рисовать, чтобы уметь сделать картинку, и сегодня он приехал сделать картинку. Но вот та же лужайка и тот же ручей, та же группа дубов, осин и кустарника, но не тот вид, — при другом освещении он принял иную физиономию. Молотов привязал к кусту лодку и отправился по лужайке в лес. Без всякой думы и заботы гулял он, как, бывало, мы гуляли с вами на каникулах, перепрыгивал чрез пни и кочки; то кричит во все горло, и эхо откликается далеко в лесу, то рассматривает какую-нибудь невиданную им траву; или вот остановился он над муравейником, без всякой жалости разрыл его и смотрит с любопытством ребенка на возню насекомых. И в самом деле, он не что иное, как большой ребенок, поучившийся и кончивший курс хорошо. При нем оставалась юность; не прошли еще те беззаботные, медовые месяцы юности, которые не во всякой жизни и бывают, о которых иной и понятия не имеет, а разве только читывал в книжках, пасторалях разных и идиллиях: это то время в жизни человека, когда он развился, взрослый совсем, а доброта и вера в людей у него не тронута, когда он еще зла не познал, — все пред ним розово и свято, и в будущем ясно. Хороши эти медовые месяцы, но большая часть людей не верит в них, говорит, что их поэты выдумали. Мы ныне рано узнаем подлость и пошлость житейскую, едва не в пеленках обличаем и протестуем, все поражено иронией и смехом сквозь слезы. Неподделен этот смех, законен, из души он идет, — но легче ль оттого? Егор Иваныч еще не познал подлости и пошлости житейской. Из кабинета своего профессора, где жила наука и куда жизнь заглядывала редко, он не видел людей. Он знал своих учителей и профессоров, которые читали такие прекрасные лекции, нескольких товарищей, два-три семейства — все это были прекрасные личности; он слышал, как одни говорили хорошо, и видел, как другие жили хорошо. Откуда же ему было почерпнуть мрачный взгляд? Кто мало видел добра, тот не верит в него, тому приходится выдумывать, вычитывать добро; кто видел мало зла, тот тоже говорит о нем понаслышке, да и говорит редко, потому что нас занимает только то, что мы знаем и испытали сами. Он кончил курс четырнадцать лет тому назад. И тогда знали, что борьба неизбежна, но не знали, как она трудна. «Нас много, — думал Молотов, окидывая взором аудиторию, — и там наших много», — думал он, вспоминая профессора-бабушку, его ученых гостей и нескольких добрых знакомых. Не думалось ему тогда: «Нас много, а там, за порогом университета и кабинета ученого, бесконечно больше; нас тысяча, там тьма...» Вот он и вышел в свет большим ребенком, и стоит теперь он над муравейником и осклабляется весело. Правда, он слышал, что в чужих людях, даже добрых, жизнь не всегда весела, «но что же они могут мне сделать? — думал он. — Денег не отдадут? Сделают какую-нибудь несправедливость?.. Велика важность!.. В один день можно собраться и уйти». И эти мысли посетили его на время, когда он сбирался из столицы к помещику; но, проживши немного времени в деревне, он и Обросимова и семью его причислил к тем «многим», к которым он сам принадлежал. Что же может смущать его? И вот он кричит на весь лес, и весел, и спокоен, и живется ему, без

сомнения, просто и легко.

Егор Иванович вышел на лужайку и на ней увидел две небольшие могилки. Это заняло его. «Кто бы тут похоронен был? — думал он. — Как странно — в лесу!» Оглянувшись кругом, он увидел, что его отовсюду окружает лес. Недолго думая, он влез на самое большое дерево и отсюда рассмотрел дорогу. Он вышел на дорогу и, слышав бабьи голоса, пошел на них. Показались три бабы. Старшая тараторила что-то. Молотов обратился к старшей.

— Тетушка! — крикнул он.

Бабы оглянулись, отвесили по низкому поклону, в полспины, как обыкновенно делают деревенские простолюдины, встречая всякого одетого по-барски.

— Чего тебе, батюшка? — спросила старшая.

— Не знаешь ли, тетушка, чьи там могилки?

— Где это, барин, могилки?

— Вот тут и есть, у реки, на лужайке.

— А! — вскрикнула баба. — Есть могилки, есть... это Мироновы детки... двое померло...

— Отчего же они там похоронены?

— Кто... детки-то? А некрещены померли.

Она подняла глаза к небу, вздохнула и, сказавши: «Господи помилуй, Господи помилуй», понурилась голову. Но вдруг лицо ее оживилось, и она заговорила:

— Известно, некрещеное дитя да померло — это все одно что дерево... Где ни закопай, все равно... В нем и духу нет... ото уж такой человек... без духу он родится... пар в нем... Этаконького и не окрестишь, так и помрет... бог не попустит, нет...

— Откуда ж ты взяла, что в некрещеном духу нет? — спросил Молотов.

— А чего ж христианское дитя да без крещения помирает? Разве можно? — не можно... Иной и вовсе мертвенькой родится... у этого и пару нет... Некрещеное дитя, так, знать, и родится не святое дитя.

Баба развела руками и замолчала. Подивился Молотов бабьему смыслу.

— Прощай, тетушка, спасибо, — сказал он.

— Прощай, батюшка.

Еще более подивился Молотов бабьему смыслу, когда после оказалось, что поверье о некрещеных детях у бабы было чисто личное, что оно в деревне никому не известно. Ему попала баба-поэт, баба-мистик. Может быть, ей самой до сих пор не приходилось объяснять себе непонятную для нее судьбу некоторых детей, и вот, лишь только пришел ей в голову вопрос о детях, она, не желая оставаться долго в недоумении, сразу при помощи своего вдохновения миновала все противоречия и мгновенно создала миф. И очень может быть, что этот миф перейдет к ее детям, внукам, переползет в другие семьи, к соседям и знакомым, и чрез тридцать — сорок лет явится новое местное поверье, и догадайтесь потом, откуда оно пошло. Не одна старина запасает предрассудки, они еще и ныне создаются. Удивительно то чувство, с которым простолюдин относится к природе: оно непосредственно и создает миф мгновенно.

Легкая грусть напала на Молотова. Он задумался и пошел медленно назад... Неужели судьба детей опечалила его?.. Но, во всяком случае, то была приятная грусть, которую жаль согнать с души. Он вздохнул, лег на траву и долго задумчиво смотрел на небо, голубое-голубое, как детские голубые глаза. Он следил за полетом золотистых облачков, которые тянулись по небу. Неужели он думал: «Куда это бегут облака?» — ведь это ребячество. Улыбнулся он задумчиво... Но вдруг раздался треск сухого дерева. Молотов не мог понять причину звука, встал на ноги и осмотрелся кругом. Потом пошел отыскивать лодку; пора было домой. Когда он на возвратном пути проезжал мимо Илличовки, то увидел, как девушка какая-то в белом кисейном платье порхнула между кустами и быстро скрылась. «Кажется, Елена Ильинишна», — подумал Молотов. Ему вспомнился вчерашний разговор... «Что это, в самом деле, за девушка? — думал он. — Не знаю я их. Только, кажется, Лизавета Аркадьевна ошиблась». Егора Иваныча недолго занимал этот вопрос. Он вдруг налег на весла и стал работать ими что есть силы. Лодка полетела быстро, вода шла вьюром от весел и щелкала в бока. Молотов вернулся домой к обеду.

После обеда в комнату Егора Иваныча вошел Обросимов.

— Как ваши занятия идут? — спросил он.

— С библиотекою кончил, — отвечал Егор Иваныч.

— Совсем ныне отстал от учебного дела, — говорил Обросимов. — Вот уже лет десять, как у меня так и валят книги и журналы без всякого порядка... Не нашли ли еще чего-нибудь интересного?

— Нет, Аркадий Иваныч, не нашел...

Надо заметить, что Молотову удалось отыскать между разным хламом дневник, веденный дедом Обросимова.

— Там еще на чердаке есть шкаф с книгами, да по чуланам и подвалам надобно посмотреть; я уверен, что есть там кое-какие клочки.

— Я посмотрю, — отвечал Молотов.

— Вы, пожалуйста, Егор Иваныч, очень не беспокойтесь, не торопитесь; ведь дело не к спеху... Теперь гулять надобно.

— Какой у вас прекрасный лес, Аркадий Иваныч; я сегодня гулял в нем...

— Здесь прежде были заповедные леса с непроходимыми чащами, медведями и разбойниками... Что дубу одного было!.. Теперь совсем не то, что прежде.

Но Молотов заметил, что у Обросимова есть что-то на уме, что он не договаривает.

— Вот нам и гулять некогда, — говорил Обросимов, — забот полны руки, посевы, по фабрике работы... да что, совсем закружился... книги давно не держал в руках... Хотел отыскать одну статейку в газетах... крайне необходимо... до сих пор не мог собраться...

— Не угодно ли, Аркадий Иваныч, я отыщу?

— Ведь листов двести придется перебрать.

— Помилуйте, у меня много свободного времени...

— Очень благодарен вам...

— Позвольте узнать заглавие статьи?

— Кажется, о компосте... только знаю, что об удобрении. Видите, вам немало будет работы, я даже и заглавия подлинного не помню.

— Я подобные заглавия все выпишу...

— Благодарю вас... Э, да что это у вас? — спросил Обросимов, переменяя разговор. — Никак, тут вся усадьба старосты Мирона?

Дело в том, что Молотов давно уже ходил в крестьянскую избу, вникал в ее постройку, материалы, службы ее, считал бревна, доски и жерди и потом сделал модель избы точь-в-точь, со всеми ее подробностями...

— Подождите, я и до фабрики доберусь, — отвечал Молотов.

— Она к вашим услугам... Однако у вас врожденный талант...

Молотов показал ему еще разные вещицы своего изделия. В это время вошла в комнату Лизавета Аркадьевна.

— Егор Иваныч, я к вам с маленькой просьбой, — сказала она.

Молотов поклонился.

— Вы будете так добры, что перепишите мне вот эти ноты.

— Позвольте узнать, что это?

— Песни Варламова.

— Я и себе спишу...

— Благодарю вас. Впрочем, может быть...

— О, пожалуйста, не стесняйтесь...

Когда Молотов остался один, он подумал: «Вот какой ведь деликатный человек этот Обросимов... Право, преблагородно с его стороны, что он так просто обращается ко мне с просьбами своими». После обеда Егор Иваныч занялся отысканием статьи... Но статья не попадалась сразу.

Часу в пятом Володя вбежал в комнату Егора Иваныча.

— Что вам угодно? — спросил его Молотов.

— Письмо к вам, — отвечал Володя...

— Не Андрей ли пишет? — проговорил Егор Иваныч. Он хотел посмотреть на адрес, но, к удивлению своему, адреса не нашел. «Не от него же», — подумал он и сломал печать. Краска бросилась в лицо Егора Иваныча, когда он прочитал письмо.

— Кто принес письмо?

— Мальчик какой-то.

— Где он?

— Он ушел... Нет, но если он вам очень нужен, папа велит отыскать его...

— Нет, Володенька, не нужно...

— Вы, Егор Иванович, хотели мне змея сделать...

— Сделаю, Володенька, а теперь позвольте мне остаться одному.

Володя ушел. Егор Иванович прочел еще раз письмо. Заметно было, что он сильно взволнован и озадачен. Он ничего подобного не читал во всю жизнь свою. Вот письмо:

«Егор Иванович!

У вас есть чувство, и вы завтра в 6 часов придете на реку к мельнице вечером и здесь встретите даму, и если любите, узнаете ее, и если нет, я останусь по гроб верная вам и любящая».

Письмо безымянное; оно как холодной водой обдало Молотова. «Что это такое? — думал он, — Кто эта по гроб верная и любящая?» По соседству немало было девиц, которых он знал, но все они очень мало знакомы ему. «Разве Елена Ильинишна? — пришло ему в голову. — Да нет, не может быть, с какой стати? Не сделает она этого...» Молотову невероятным казалось, чтобы какая бы то ни было девица решила сама назначить свидание мужчине, и потому он подумал, не написал ли кто-нибудь письма нарочно, для мистификации. Но рука была женская, и притом некому над ним шутить. Он терялся в недоумении. «Как же это можно?» — говорил он и перечитывал письмо. Письмо не давало ответа. Интрига не представлялась ему в привлекательном виде; он не привык к интимностям подобного рода; самая форма дела казалась ему так эксцентрична; он отчасти трусил, отчасти ему просто было стыдно. Егор Иванович был крайне неопытен. До сих пор он еще не целовал ни одной женщины и теперь спрашивал себя: «Как тут быть? Андрей все бы это разъяснил, он знает. Нужно идти или нет? Что из всего этого выйдет?» Ему нужен был авторитет, учитель, книга, которая пояснила бы непонятный случай. Но прошло несколько времени, он — будь Андрей подле него — пожалуй, и не сказал бы о письме своему другу. Этот случай, представлявшийся ему в таком неблагоприятном свете, мало-помалу получал иные оттенки. Его любопытство было раздражено, и хотя литературные достоинства письма охлаждали его, но слово «любящая», первый раз в жизни коснувшись его уха, действовало на него волшебным образом... Он начинал увлекаться; но, взглядываясь в буквы, изображенные амуром приволжским, он ощущал какую-то притворность в сердце, и вдруг с чего-то припоминалась ему одна актриса в сюртучке и панталонах, игравшая роль молодого мужчины на Александрийском театре. Странная смесь и борение чувств поднимались в душе Молотова при этом интимно-комическом случае. Воображение его не может оторваться от письма, и вот, помимо всей любовной дряни, оно создает какой-то прекрасный образ, и не один, а несколько — и все они льнут к нему, толпятся в воздухе, летают, ласкают его; но лишь только появляется среди них «по гроб верная и любящая», пропадают все грациозные образы. «Что же это будет?» — говорит Молотов вслух. Он берется за газеты, чтобы отыскать статью о компосте или каком-нибудь другом удобрении, но между газетными строками укладываются другие строки и мешают изысканиям. Стал что-то строгать, обрезал палец. Тогда он бросил все, и резьбу и компост. Он пошел в сад, из сада вышел бессознательно на улицу, спустился под гору и очутился у реки. «Зачем меня сюда занесло?» — спросил себя Молотов, а сам как будто хотел угадать, кто завтра придет на это место. Он вернулся домой, разбирая со всех сторон интимно-комический факт, предьявленный ему амуром приволжским. Молотов увлекался.

Пили чай на балконе. Был прекрасный вечер. Теперь наступили постоянные погоды.

— Садитесь поближе, — сказала хозяйка.

Егор Иваныч недослышал. Он сидел, облокотившись на перила, и смотрел на реку...

— Егор Иваныч, поближе садитесь, — повторила хозяйка.

Молотов подвинулся и взял стакан. В улице там и сям выезжали крестьяне с боронами. Опять, как и вчера, повалило стадо. Как и вчера, тишь и благодать в воздухе. Но все то же, да не то: и в пении птиц, и в ворчанье самовара, и в легком плеске реки, и в воздухе, и в отдаленных голосах для Егора Иваныча пронеслось какое-то новое движение, как будто с души его поднялось что-то и вместе с вечерними тенями покрыло и реку, и сад, и кладбище. К Молотову обратились с вопросом. Он не к делу ответил:

— Не знаю, хорошо ли.

— О чем вы говорите? — спросили его.

— О нотах.

Все засмеялись.

— Что это с вами, Егор Иваныч? — сказала Лизавета Аркадьевна. — О чем вы думаете?

Егор Иваныч покраснел.

— Уж не влюбились ли вы? — спросила она, причем отец посмотрел на нее сердито.

— Пожалуй, вы и угадали, — ответил довольно храбро Молотов, — только я и сам не знаю, в кого.

— Это прекрасно; в незнакомку, значит?

— И незнакомки нет...

— Так не в портрет ли чей-нибудь?

— И портрета нет...

— Что ж, вы выдумали, что ли, какую красавицу и теперь видите ее в воздухе? Но вы, кажется, такой солидный человек, мечтой не увлечетесь...

Отец переменял предмет разговора. Егор Иваныч воспользовался первой удобной минутой и оставил общество. Егору Иванычу было не до смеху. Письмо сбilo его с толку, настроило его на странные душевные движения и породило фантастическую ночь. Долго он не мог заснуть в тот день; ему было жарко под одеялом. Молотов раскрыл окно и сел к нему в одной рубашке. Никакого голоса не было в природе. Туманы поднимались с реки. Молотова жгло что-то, голова его горяча, нервы раздражены, и понять он не может, что с ним делается. Влюбился он, что ли? Да в кого же влюбился?.. В фантазию?.. В воздух?.. В письмо?.. О, молодые, горячие, полные жизненности годы!.. Боже мой, какие мечты поднимались в его голове, какие образы видел он в воздухе, какие грациозные, прекрасные тени выходили из тумана и плыли над рекою, а с кладбища, из лесу и с гор выглядывали безобразные дивы!.. Носятся грациозные тени, бесплотные образы, поют, манят его к себе, он видит, чувствует их. Но вот будто плачет кто-то... Рыдание слышно... слезы льются... сердце сжимается от тоски... душно в приволжском воздухе... Среди образов появился новый. Отчего Молотову думается, что это «по гроб верная и любящая»?.. Чего она плачет, а вот теперь смеется?.. Зачем светлые тени побежали прочь, тонут, тонут и пропадают в воздухе?.. Волк взвыл — сова откликнулась. Пусто в воздухе и глухо во вся природе. Жарко... Долго маялся Егор Иваныч.

Когда он заснул наконец, то и во сне грезы тревожили его молодую душу... Странны молодые люди, и нам, старикам (проговорился автор), трудно понимать игру горячей жизни. Так что же?.. Не хотим и понимать; а потребуют ответа, мы скажем, что все эти волнения — не что иное, как химические процессы в организме молодого человека.

С утренними лучами солнца ночные фантазии и бредни, получившие под конец мрачный оттенок, явились в более светлом виде. Взгляд на письмо переменялся. Егор Иванович прочитал письмо много раз, так что пригляделся к нему. По этой ли причине или по какой другой, только ему не приходили в ум мужские панталоны на актрисе и тому подобные разрушающие иллюзию атрибуты. Он уже примирился и с эксцентричностью письма и с его литературными достоинствами; в письме было что-то заветное для него; гордость его затронута доверием незнакомой женщины. Читатель, вероятно, догадался, что письмо писала Леночка, иначе зачем автору было выводить ее на первых страницах; но Молотов не догадывался. Он представлял себе какую-то другую девицу, и после ночи мечтаний и фантастических образов, после многих дум и волнений он точно знаком был с нею, хотя и не сказал бы, каков ее рост, цвет волос, глаза, походка. Это был образ туманный и неясный, сформировавшийся из тысячи прежде нажитых впечатлений. Ему казалось, что и прежде он видел его где-то, и почему-то припоминалась ему семья Дороговых. Егор Иванович вглядывался в этот образ и, помимо здравого смысла, не то чтобы верил, что у реки встретит именно того, кого он выдумал, — нет; но молодость, свежие годы, непотраченное чувство предъявляли свои права, и он любил кого-то, кто-то ему дорог был. И вот письмо стало ему заветным уже потому, что оно могло так возмутить его душу. Он ни за что и никому не показал бы его.

Егор Иванович нетерпеливо ждал означенного часа. Поиски компоста по газетам или какого другого удобрения были неуспешны. Ноты он переписал, увидел, что наврал, и опять стал переписывать. Ожидаемый час крался еле ползущими минутами. Когда наступило время и Егор Иванович отправился на место свидания, сердце его билось тревожно; он был возбужден, он трусил. Под горой ему встретилась баба и низко-низко поклонилась; Молотов отвечал на поклон со смущением и проводил бабу глазами до тех пор, пока она не скрылась из виду. Он шел все медленнее и медленнее. Приближаясь к мельнице, он увидел женщину в белом кисейном платье, обивавшую концом зонтика цветы. Он рассмотрел Леночку. «Как некстати», — подумал Молотов, и — вот туманный образ воплотился, форму принял. Чего же смущается Егор Иванович? Или он не к тому приготовлен?

— Здравствуйте, Елена Ильинишна, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответила Леночка, стыдливо опустив гласа.

«Она!» — подумал Егор Иванович и кончил тем, что растерялся. «Елена Ильинишна? — вертелось в его голове. — Тут несообразность какая-то, противоречие». Он, оглядываясь по сторонам, все еще не терял надежду видеть другую женщину. Новое для него положение — свидание с девицею, которой он не ожидал, поставило его в тупик... Она молчала, он тоже. Прошли несколько шагов по берегу. Егор Иванович взглянул на спутницу искоса. Она вздохнула. Молотов чувствовал, что он должен сказать что-нибудь, но не было у него ни одного звука, ничего в голову не шло; он не знал, куда девать свои большие ладони. Он придумывал какое-нибудь слово, был бы рад самой пошлой фразе, а в голове только и было: «Черт же знает, что это я... ведь нехорошо...» Он решил, что напрасно трудится, что ничего не придумает, и махнул рукой: «Пусть себе!.. Чем-нибудь да кончится!.. Погубила меня проклятая застенчивость!» А Леночка идет, опустивши длинные, прекрасные ресницы. Наконец она сказала:

— Вы очень скоро идете...

— Виноват, — ответил Егор Иванович...

— Какая сегодня прекрасная погода, — сказала Леночка.

«Нашла же она что сказать!» — подумал Молотов. Но надобно отдать честь и ему. Он поддержал разговор:

— Да, хорошая стоит погода, — и тотчас сделал еще такие слова, — давно уж стоит такая... дождей совсем мало... отличное наступило время.

Молчание. «Нет, — думал Молотов, — я обязан говорить».

— Вы любите природу? — спросил он, а сам про себя подумал: «Однако это с какой стати? Ведь это очень глупо!»

— Люблю.

— Я третьего дня просидел до рассвету, — продолжал Молотов и опять подумал: «Ну, это еще хуже». У него так и шло два разговора — один с Леночкой, другой про себя, как это всегда бывает у застенчивых людей.

— Такой был прекрасный вечер, — прибавил он. «Нет, стоило б меня хорошенько!» — рассуждал он.

Но вот Леночка совершенно оправилась, взглянула открыто и сказала:

— Я сама люблю вечером гулять... Я всегда почти гуляю. Особенно смерть люблю воду... У нас всегда речка перед глазами, и я привыкла к ней... Я люблю удить, только червяков гадко брать в руки... впрочем, теперь ничего... привыкла... Вы знаете иву? Вон там, — показала рукой Леночка.

— Знаю, — ответил Молотов и вздохнул свободно, потому что надеялся, что Леночка не скоро остановится.

— Там очень хорошо клюет... Там я в третьем году вот какого язя поймала. (Она показала руками.) У нас дяденька гостил. Он очень хороших аглицких крючков привез.

— А мамаша не боится, что вы утонете? — «Очень прилично сказано», — одобрил себя Егор Иваныч.

— Ах нет; мамаша мне все позволяет. А вы любите удить?

— Никогда не удил, хочу попробовать. Скажите, в чем тут удовольствие?

— Ах, как же, очень весело!

«Дело очень прилично идет, — думал Молотов. — Впрочем, какая она странная, как будто ни в чем не бывало, а я-то?..»

— Очень весело! — повторила Леночка...

Она стала, как бабочка, порхать с предмета на предмет. О письме ни полслова. Оно-то сильно и беспокоило Молотова. «Неужели не намекнет? Что же я тогда стану делать? Однако нельзя сказать, чтобы она была неспособна к решительному шагу... Но что же это за девушка?»

Леночка болтала, прыгала, как козочка; а право, она была премиленькая козочка — гибкая, стройная, черноглазая. Стали они спускаться с берега реки. У мельницы над водой росла береза; под березой была скамейка...

— Сядемте здесь, — предложила Леночка.

Сели. Молотов подумал: «Сейчас намекнет». Он вздохнул.

— О чем вы, Егор Иванович, вздохнули?

— Так...

— Так никогда не бывает: вы вспомнили кого-нибудь?

— Нет, мне некого вспоминать...

— У вас есть родственники?

— Ни души, Елена Ильинишна...

— Никого?

— Решительно никого. У меня и знакомых очень мало. Я мало кого знаю...

— А друг у вас есть?..

— Есть.

— Хороший?

— Прекрасный человек.

— Как весело иметь друга, — сказала Леночка и задумалась.

«Сейчас о письме намекнет, — подумал Молотов. — Что ж? Я скажу ей деликатно...» Дальше мысль не шла... Что он хотел сказать ей деликатно?.. «Все-таки это обидит ее», — закончил он прерванную мысль. Но напрасно он испугался. Слова: «Как весело иметь друга» — были сказаны без задней мысли, так, по ходу речи... Странно было смотреть на молодых людей. Леночка не менее Молотова боялась разговора о письме. Она лишь только увидела Егора Ивановича, ей страшно стало за свой легкомысленный поступок, который она, кажется, сделала так, просто, по-птичьему... Любила ли она Молотова? Она не первый раз его видела; он говорит иногда так хорошо, хотя когда он говорит-то хорошо, тогда она его и понимает меньше; он такой добрый, он ей нравится, но предположить в ней серьезное чувство едва ли возможно. Письмо ее было одною из тех эксцентрических выходок, на которые способны иногда наши деревенские барышни и обитательницы Песков, Коломны, Петербургской стороны и других поэтических мест. Они не сробеют, напишут, хотя и не думаем, что они по нравственности ниже тех, которые сробеют и не напишут. После они иногда и каются, но уже дело сделано. Так и Леночка теперь сама поняла, что следовало бы надрать ей хорошенькое ее ушко. Когда она увидела Молотова, ей страшно стало и прежде всего пришло в голову: «Боже мой, что я наделала? Что, если он возьмет да и прочитает всем мое письмо? Пропала я!.. Лиза Варакова, Таня Песоцкая, Саша Нечаева... Все, все ему знакомы!.. Ай, маменька узнает!» Она чуть не плакала и в первую минуту едва не сказала: «Егор Иванович, не говорите мамаше... я больше не буду». Но, увидев, что Молотов едва ли не больше ее струсил, она сказала себе: «Он не страшный, он такой добрый», и рада была, что Молотов не говорит ничего о письме. Теперь она была спокойна...

Егор Иванович наклонился и сорвал цветок.

— Дайте мне цветок, — сказала Леночка.

— Извольте.

— Это мне на память.

— Разве нельзя помнить без цветка?

Молотов сорвал другой цветок. Леночка опять:

— Дайте мне цветок.

— И этот на память?

— Дайте же, — сказала Леночка строго, вырвала неожиданно цветок и ударила им по руке Молотова.

Все это сделалось как-то уж очень наивно. Оба засмеялись. Оба были довольны, что о письме и намека нет. Леночка наклонилась и стала водить зонтиком по земле. С плеча ее скатилась мантилья, ветер шелестил кисейным рукавом; обнажилось белое плечо, на котором, как муха, сидело родимое пятнышко; ротик ее полуоткрыт; вся она замерла и затихла, как птица на ветке. Молотов и не заметил, как залюбовался ею. В это время Леночка взглянула на него. Он покраснел.

— Что это, Егор-Иваныч, вы все молчите?

Молотов вынул часы, посмотрел на них и объявил, что ему пора домой. На желание Леночки посидеть он сказал, что у него есть дело.

— Жаль, — отвечала Леночка. — Посмотрите, какой хороший вечер. Ну, пойдемте.

Они поднялись на берег. Молотов проводил ее несколько. Расставшись, она еще раз крикнула:

— Прощайте!

— Прощайте! — ответил Молотов...

Никакого дела у Егора Иваныча не было. Он просто струсил, когда Леночка заметила его взгляд. «Глупо, глупо, — твердил он, — надо бы узнать!.. Чего я струсил?.. Разве первый раз взглянул я на нее?» Он вспомнил, что и прежде встречались их взгляды. «Но тогда другое дело, — прибавил он, — не те были отношения».

Что же вынес Егор Иваныч из сегодняшнего события? Ничего определенного. Он только уверился, что письмо написала Леночка, и ему казалось, что рассеялись его грезы и иллюзии. Но что такое Леночка? Что это за девица? Какие должны быть отношения к ней? Зачем сходились они там у мельницы? Как это так ничего не объяснилось? — всего этого он не понимал. «Неловко же мне было спросить ее, — думал он. — Впрочем, нельзя сказать, что она неспособна к решительному шагу... Но неужели она любит? Разве так любят, как она?.. А я тут что такое?..» Множество вопросов роилось в голове Молотова. Страннее всего со стороны Егора Иваныча спрашивать: «Разве так любят, как она?» В книжке, что ли, он вычитал, или Андрей ему сказал, что любят не так? И почему он знает, как она должна любить? Любовь — это такая книжка, которую всякий сам сочиняет и автор которой всегда оригинален. У него точно была какая-то скрытая мысль, в которой он не хочет сознаться, но которая сама собою слышится за всеми вопросами. Он стал прислушиваться к душе своей и чувствовал в ней тревогу и беспокойство; что-то ходило в нем, дышал он сильнее, сердце его сжималось и расширялось. Он сказал: «Вот теперь самому совестно за нелепую, непростительную застенчивость, из-за которой все дело осталось неразъясненным. Ведь она бог знает что подумает!» Он вспомнил, что такую же тревогу совести ему случилось ощущать и прежде. Такие же были в душе движения, когда он после ссоры увидел своего друга и, не смея глядеть ему прямо в глаза, сказал: «Полно злиться!» Когда он убедился, что это его

совесть мучит, ему стало немного легче; но он долго еще обсуживал интимно-комический факт, предъявленный амуrom приволжским, припоминая все мельчайшие штрихи события. Засыпая, он вспомнил, как скатилась мантилья с плеча Леночки, и прошептал с раскаянием: «Стыдно, стыдно!.. Ты не должен был оставить дело в таком положении». На другой день Молотов отыскал статью о компосте и ноты переписал. С этого дня начались усиленные занятия по делам Обросимова...

Время летело быстро. Егор Иванович и не заметил, как прошли две недели. Он постоянно был занят, работал без устали, составлял ведомости, рылся на чердаках в книжном хламе, учился с Володей; кроме того, к нему было несколько особых просьб, которые он охотно и исполнил. Помещик иногда зайдет к нему, спросит, как идут его занятия, скажет, что вот такую-то статью не худо бы окончить, посоветуется с Егором Ивановичем и всегда прибавит:

— Много, много дела, Егор Иванович, совсем сбился с толку... А вы-то что ж не гуляете?

— Нет, я гуляю, — ответит Молотов, только прибавит, что вот такую-то статью ему хочется поскорее кончить.

В воскресенье Обросимовы, и вместе с ними Егор Иванович, собрались к Аграфене Митревне Илличевой. Она была женщина толстая, сырая, находившаяся в строгом, праотческом законе у покойника мужа и потому немного поглупевшая. Аграфена Митревна рада была видеть в гостях богатого соседа и подняла тяжелую возню на весь дом. Скоро завязалась общая беседа, говорили о погоде, о посевах и всходах, о деревенских новостях. Немного спустя Лизавета Аркадьевна села на своего конька, то есть Жорж Занда, и поехала на нем. Егор Иванович слушал внимательно; Обросимов морщился и посматривал неприветливо на дочь, чего, впрочем, никто не замечал; Леночка половину не понимала; мать ничего не понимала и тяжело дышала.

— Про какую вы это эманципацию говорите? — спросила Леночка. — Ученое что-нибудь?

— Вы не знаете, что такое эманципация? — спросила снисходительно вдова.

— Не знаю, расскажите о ней что-нибудь...

— Видите ли, ныне многие стремятся восстановить права женщины, дать ей воспитание полное, как и мужчине, свободу в выборе мужа, в выборе занятий, участие не только в семейной, но и гражданской жизни, личную независимость; хотят восстановить права женщины, которые не должны быть меньше нрав мужчины. Понимаете, это и называется эманципациею.

Вдова говорила, как читала. Отец с беспокойством думал: «О чем говорит с девушкой!.. Совсем без такта... Это у нас не принято». Леночка задумалась.

— Нет, не понимаю, — ответила Леночка простодушно. — Что это такое, например, значит — свобода в выборе мужа?

Отец с беспокойством повернулся на стуле.

— Очень просто, — говорила вдова поучительным тоном, забывая слова свои, что Леночка не способна к развитию, — очень просто: женщина выбирает мужа себе сама, как мужчина ее выбирает, и тут нет дела ни родственникам, никому. Она сама за себя отвечает...

— Этак иная бог знает кого выберет...

— Уж то ее дело.

— Этого не бывает никогда...

— Да, редко бывает...

— Так, значит, и нет никакой эманципации на свете; это, значит, ученость...

— Что ученость?

— Да вот эманципация... Ведь этого нет, и никто не позволит девице самой выбирать жениха; ну, значит, и неправду вы сказали.

— Bravo, крестница, bravo! — подхватил Обросимов.

Молотову занимательно было следить за этим забавным спором между двумя женщинами, из которых одна, очевидно, малоразвитая женщина, но от души говорила и верила тому, что говорила; а другая, образованная дама, ломалась, говорила свысока, и сомнительно, чтобы говорила с убеждением...

— Я никогда не понимала учености, — сказала Леночка. Лизавета Аркадьевна с комическим участием спросила ее:

— Что же вас вооружило против учености?

— Это самая скучная вещь. Стихи я люблю, и то чтоб хорошие были. Я много знаю стихов.

— Какого же поэта больше вы читаете?

— А вот у Лизы Вараковой я недавно достала стишки Пушкина.

— Какие?

— Хотите, прочитаю.

Лизавета Аркадьевна изъявила желание. Леночка сказала «слушайте» и стала читать: «Как пошел наш воевода вдоль по Клязьме погулять».

«Эх, бедняжка, — подумал Обросимов, — теперь поднимут ее на смех».

— Хорошо? — спросила Леночка, когда кончила чтение.

— Это не Пушкина стихи, — сказала вдова.

— Пушкина, Лизавета Аркадьевна, Пушкина. Мне Лиза Варакова говорила: она уж знает... Ах, вот Лиза Варакова ученость любит! Как начнет говорить: «Жизнь моя стремится... родник души... идеалы...» — просто смех!

— А вот вы читали, Елена Ильинишна, — сказала вдова, — что пляшут сам-друг мужик с бабою и они счастливее воеводы, — это правда?

Леночка задумалась.

— Как же можно, чтобы правда? Ведь это стихи! — отвечала она.

Лизавета Аркадьевна засмеялась.

— Так и стихи лгут, как ученость?

— Ах, какие вы, Лизавета Аркадьевна! Зато это стихи, а то ученость. Неужели вы не понимаете? Смотрите, как хорошо выходит: «В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть...»[5] — Она прочитала эти стихи с увлечением...

— Это худо? — сказала она. — Я много стихов знаю...

— Это прекрасные стихи, — ответила Лизавета Аркадьевна и потом перешла опять в область разных размышлений. Леночке стало скучно от «учености», и, воспользовавшись первым удобным случаем, она напомнила Егору Иванычу, что он хотел посмотреть ее козу и голубей.

Леночка показала свою любимую козу с голубой лентой на шее, голубей, свои куртины. Потом стали гулять по саду. Молотов не чувствовал особенного стеснения. Он быстро развивался.

— Ведь я правду говорила? — спросила Леночка.

— По крайней мере вы говорили то, что думали, чему верите.

— А она?

— Не знаю, верит ли она тому, что говорит.

— Так зачем же она и говорила?

— Хотела порисоваться.

— То есть хвасталась? Да ведь она не про себя говорила, а так... рассуждала...

— Это тоже хвастовство...

— Как же так?.. И не верила?.. Ай, как это смешно!..

Леночка, по наивности своей, не знала, что можно вычитать какую-нибудь хорошую мысль; вычитавши, запомнить ее хорошенько и для того даже на бумажку записать, со всеми красивыми оборотами, и потом сделать из мысли игрушку. Обыкновенное лганье она понимала, но этого не могла себе представить. Ей на минуту пришла в голову Варакова Лиза: «Не так ли, как та?», но нет, у той, бедняжки, действительно «жизнь стремилась» из «родника души» и тому подобное, а эта не верит и говорит; притом правду говорит и не верит. «Ведь смешно выходит», — подумала Леночка.

— Этого не бывает, — сказала она.

— Бывает, Елена Ильинишна...

— Зачем же она говорит?

— Чтобы сказали: вот какая она умная женщина...

— Будто умными называют тех, кто так говорит?

— Да.

— За что же?

— Все умные люди проповедуют то же самое...

— Так правда и то, что она о женихах рассказывала?

— Правда, — отвечал Молотов, невольно улыбаясь...

— Когда же это сделают? Скоро?

— Об этом толкуют пока да пишут...

— Ну, и что же?

— Больше ничего, Елена Ильинишна.

Леночка засмеялась и вдруг побежала, крикнувши: «Нагоните!»

Егор Иванович сразу поймал ее.

— Нет, снова; дайте мне уйти сначала.

— Ну-с.

Молотов опять поймал ее. Он заметно скоро развивался.

— Вы очень скоро бегаєте... Хотите, я запрячусь? Отыщите меня.

Молотов согласился. Он ушел в беседку.

— Пора! — закричала Леночка.

Он прямо пошел на голос и отыскал Леночку в густых кустах жимолости.

— Сразу нашли... теперь вы прячьтесь.

Он спрятался.

— Пора! — крикнул Молотов.

Леночка тоже пошла на голос, нагибалась под кусты, посмотрела за дерновым диваном.

— Пора! — раздалось совсем с другого конца сада.

— А!.. Вы перепрыгались... Подождите же!..

Молотов сидел в кусту. Он вдруг почувствовал прикосновение к шее нежной, мягкой руки; он схватил руку и крепко сжал ее в своей большой руке... Леночка хохотала.

— Довольно прятаться... Давайте гулять... Хотите, я еще прочитаю стихи?

— Хочу.

— Пойдемте туда.

Они пошли к забору в тополевую аллею. Аллея разрослась густо, и солнце пробиралось между листьями на черную, прораставшую травой дорожку белыми пятнами. С боков дорожки кустами росла малина, сирень, жимолость, между ними огромная крапива и какая-то жирная трава поднималась от земли. Пела пенка, маленькая желтая птичка, бойкая и шаловливая на свободе и не могущая трех дней прожить в клетке: сейчас стоскуется, нахохлится и умрет. Еще меньшая птичка, гвоздок, порхала по кустам; москочки, чижи, пухляки, зяблы — всевозможная мелочь лесная и садовая — надували свои горла и надавали разнообразные пiski. Наверху стрижи визжат, воробей туда же путается со своим дрянным голосом... В самой глуши сада стоял дерновый диван, по бокам в черных плешах и с густой, сочной травой на середине. Над диваном полубеседка, оплетенная хмелем. Тысячи мелких звуков, производимых насекомыми, составляли аккомпанемент птичьему хору, какого не создаст ни один художник в мире. Сверчок барабанит, оса жужжит густо, кузнечик отколачивает металлические звуки, тонкой иглой вставил комар свой голос, а наверху с визгом несутся стрижи, а еще выше небо голубое, беспредельное, океан лазури и благодати божьей. Голосистый бабий крик слышен издалека. В воздухе аромат и песня.

— Сядемте, — сказала Леночка. — Ну, слушайте: «Кончен, кончен дальней путь, вижу край родимый». — Она долго читала стихи. Молотов не ее слушал, а другую песню, которая совершалась в природе.

— Хорошо? — спросила Леночка.

— Очень хорошо, — отвечал Молотов.

Леночка смолкла.

«Нет, вот что хорошо, — думал Молотов, — сидеть в такое время в беседке, оплетенной хмелем, да еще хорошо, когда тут же сидит какая-нибудь девушка: все одно, любит она вас или не любит, лишь бы кротко было выражение лица ее, лишь бы она не хохотала в это время и не сантиментальничала, а сидела бы молча и смирно».

Лицо Леночки было именно кроткое и спокойное. Она уgomонилась и сидела теперь сложа руки, не шевелясь, забыла «стихи» и «ученость». Закутавшись в мантилью, она уселась так удобно и ловко, что ей жаль было потерять положение головы, рук, стана, пошевелить ногою, — приютилась, как котенок на солнце, как дитя, которое, положив головку на руку, долго о чем-то задумается.

Но вот в душе ее непременно промелькнуло что-нибудь...

Лоб ее наморщился, черные брови сошлись вместе, глаза посмотрели как-то нехорошо, и малиновые, как вишни, губки сжались, хорошенькое личико сделалось совсем нехорошо. Она отбросила мантилью, ее локтя сверкнули на солнце, и раскрылась красивая шейка.

— Пойдемте, Егор Иваныч, на реку.

— Пойдемте, — согласился Молотов, неохотно оставляя диван.

Они отправились на реку. Пришли.

— Нет, здесь страшно, всякий год тонут; пойдемте вон туда, на горку.

Пришли на горку.

— Нет, опять пойдемте в сад; я устала.

«Что это с нею?» — подумал Молотов.

Когда они пришли и уселись под хмелем, Леночка совсем переменялась: скучная такая, усталая, а в хорошенькие черненькие, как угольки, глазки, опущенные вниз, просто не смотрел бы: так там нехорошо, точно зависть оттуда выглядывает. Брови еще ближе сошлись; нижняя губка выдвинулась вперед. Смотрит Егор Иваныч и недоумеваает. Вздохнула Леночка так глубоко, так серьезно. «Боже мои, что же это с нею?.. Ай, как она постарела!» — Молотову стало жаль Леночки.

— Что за перемена с вами, Елена Ильинишна? — спросил он.

— Никакой перемены нет, — отвечала она.

— Бы такая печальная, — говорил Молотов с участием.

— Скучно мне.

— Чего же вам скучно?

— Не знаю, — ответила Леночка.

У ней стали навертываться слезы.

Егор Иванович не знал, что делать. Ему неловко было видеть девушкины слезы, как-то совестно. Он боялся оскорбить ее нескромными вопросами.

— Отчего же? — спросил он с замешательством.

— Я думаю, оттого, что жизнь моя худая...

Молотов посмотрел с удивлением на эту бойкую, розовую, кисейную девушку.

— И живешь здесь!.. Ну что здесь?.. Особенно зимой... снегом занесет... волки воют... никого нету... одна маменька... Какое это житье?

— Зачем же летом зиму вспоминать, Елена Ильинишна?

— Ах, Егор Иванович, как иногда невесело бывает!.. Отчего это?

Молотов думал: «Ну, что я скажу?.. Чего ей?.. Право, какая она!»

— Я думаю, оттого, что так я росла... Что я видела? Ничего не видела... Хоть бы брат был у меня хороший... Сестра замужем и уехала...

— Ведь у вас есть брат? — спросил Молотов.

— Бог с ним, с этим братом... Отчего это братья не любят сестер своих? И другие подруги тоже жалуются.

— А вас брат не любил?

— Нет... Мы, бывало, у него не говорим, а дребезжим все... Всегда, бывало, с насмешкой, все назло... Маленькие росли, только и помню, что бил, да ломал все, да ябедничал, а отец был такой угрюмый, строгий, всегда за старших... Что-нибудь сделает худое, да на меня же и нажалуется... Прозвищ всяких надавал... Не мог азбуки выучить без колотушек... Теперь ему же маменька посылает деньги; разве это хорошо?.. Мужчина должен сам деньги доставать, а сестрам где взять?

Леночка помолчала.

— Была одна знакомая, — продолжала она, — стала учить по-французски, так братец же отбил охоту, коверкает нарочно слова, и сестрица тоже хохочет. Ну, вот и житье!.. А строгость какая!.. Всем воля, всем праздник, лишь мы никуда... У папеньки и не заикайся выехать куда-нибудь... и на маменьку прикрикнет... как можно, в самом деле?.. Разве так получают образование?.. Все сама... потихоньку и манерам выучилась, и танцевать, и моду перенимать...

— У вашего отца, я слышал, было большое состояние?

— Давно прожили, я еще маленькая была... Тогда папенька стал богу все молиться... Станет какую-нибудь спасительную книгу читать, наставления делать, а потом бранить нас... просто тоска!.. Что мне богу молиться? Я гулять хотела!.. Чем я хуже других?.. Говорят, Таня Песоцкая и умная, и хорошая, и все, — ничего нет хорошего, а вот одевается хорошо, потому что богата...

«Что же это за Леночка? — размышлял с недоумением Молотов. — Сначала я думал, что она хорошенькая, наивная, бойкая провинциалка, которой ничего не стоит назначить свидание с

мужчиной, которое, разумеется, ни к чему не поведет, говорить разную наивную дребедень, играть в прятки, словом: делать тысячу детских шалостей. А теперь? Ее одолевает скука жизни, ей не сойтись с подругами, ей хотелось бы... хоть брата хорошего... Кстати, сколько ей лет?» Молотов не мог определить года Леночки: «восемнадцать ей или двадцать?»

Между тем Леночка продолжала жаловаться, и всего неожиданнее было, когда она перешла опять к брату и сказала:

— Ведь он хороший был... всем здесь девицам понравился... ловкий какой! Смешил как!.. Только как сестра ни любит брата, он не полюбит сестру.

Леночка замолчала.

— Что вам на это сказать? Не поминайте старого — бог с ним... Можно еще поправить дело...

Леночка взглянула на него при этих словах.

— Читайте, учитесь, — продолжал Молотов и вдруг остановился, вспомнив, что юноши наши всегда предлагают это универсальное лекарство от всех дамских болезней.

— Я неспособная, — отвечала Леночка.

— Это неправда; вы так же способны, как и другие девицы.

— Знаете что, Егор Иваныч, одна цыганка мне предсказала, что я не буду счастлива... Ах, Егор Иваныч, как ее высекли тогда! И из деревни папенька велел выгнать ее. Я тогда еще маленькая была.

— Что ж, вы верите?

— Иногда и правда выходит. Та же цыганка предсказала, что моя сестра будет за офицером, — так и вышло.

— Но ведь ту же цыганку высекли, а она не могла это узнать...

— Да... — протяжно сказала Леночка, — а все же страшно. Зачем бы ей говорить, что вот бог тебе счастья не даст?

— Со злости.

— Ей не на что было сердиться.

— Этого нельзя знать, Елена Ильинишна.

— Ай, какая я странная! — вдруг сказала Леночка. — Зачем это я все говорила?.. Вы, Егор Иваныч, не будете смеяться?

— В ваших словах ничего не было смешного. Вы видели, как я вас слушал.

— Вам как будто удивительно было? Как я — не говорят девицы...

Молотов немного покраснел. Он действительно не без удивления слушал Леночку. Но у Егора Иваныча было много добродушия. Он верил, что человек редко бывает виноват в недостатках своих, что его портят воспитание и другие условия жизни; он давал громадное значение внешним обстоятельствам, верил, что в самой темной душе бывает искра божия, которая, лишь только подует благотворный ветер, может разгореться прекрасным пламенем. «Чужая душа — потемки» — это была одна из любимых его поговорок. Поэтому он не

решался осудить Леночку, не думал и смеяться над ней; ее странная откровенность возбуждала его жалость. Может быть, тут действовала и еще какая-нибудь причина. Чего не случается на свете? Кто ж ее знает! Может, ей, и в самом деле, трудно было на душе, напала теска, захотелось высказаться, — вот и явилась неожиданная исповедь. Она, быть может, сама себе бы рассказала, первому воробью стала бы жаловаться, цветку, кусту сирени. Да, бывают в жизни человека редкие моменты, когда возникает в душе жажда откровенности и речей, хотя после часто и стыдно бывает, особенно когда догадаетесь, что вас слушали без сочувствия. «Эк меня разносило! — думается увлекшемуся человеку. — Опять, опять не утерпел!.. Зачем было высказываться до таких подробностей? К чему эти вопли, которые не нормальное же мое состояние? Разве первый раз ощутил я прилив этих чувств? Надобно смотреть на других: все спокойны, не увидишь одушевленного лица — все, как доска, без выражения, не услышишь сильно поднятой ноты в голосе. Мало ли что вчера было больно, нестерпимо, кричать хотелось, а сегодня больно от неумеренного крику». Но напрасно человек закликает горячее слово и откровенную беседу; когда созреет вопль душевный, радостный или печальный, опять явится откровенность, потому что это закон физиологический и психический, это закон природы. Есть какой-то хмель в откровенности; она одуряет и увлекает; и как рад человек, когда найдет другого человека и когда он, оглядевшись, уверится, что над его мыслью никто не стоит, запрет двери — и тут-то польются речи рекой, и тогда именно можно заговориться до охмеления. Поговорить хоть, если нельзя делать; хоть потихоньку, если нельзя вслух. Кто не испытывал этого блаженства речи?.. Вот и Леночка высказала жалобу, назревшую в душе ее: она не могла не говорить в данную минуту; хотела бы, да не могла. Каковы ее жалобы, то другой вопрос. Молотов не знал, что отвечать на Леночкины слова: «Вы не станете смеяться, Егор Иваныч?» Он чувствовал, что Леночка с болезненным напряжением ожидала ответа, что она боится за свою откровенность, и потому он отвечал с одушевлением:

— Уверяю вас, Елена Ильинишна, что ничего нет смешного в ваших словах... напротив...

— Что напротив?.. Вам жалко было?

Молотов отвернулся в сторону, — так ему неловко было от подобного вопроса. «Неужели же сказать: жалко было?» — думал он. Егор Иваныч ощутил острое чувство, легко понятное для человека, который не любит, когда при нем режут пробку, скрипят дверь или водят гвоздем по стеклу.

— Вы только никому не рассказывайте, — просила Леночка.

— Помилуйте, я это понимаю.

— Вы добрый, Егор Иваныч... право... А я все-таки странная... чудачка... Ну, да ничего... вы никому не скажете.

Потом Леночка попросила у Молотова стихов Пушкина, которые он и обещал прислать ей. И Леночка совсем повеселела. Они отправились домой. Егор Иваныч думал, что давно пора. Он боялся, чтобы не обратили внимания на их долгое отсутствие. Но Обросимов с дочерью пошли прогуляться по деревне и не позвали молодых людей; мать же Леночки и не подумала о них. У нас на долю иных девушек выпадает удивительно широкая свобода — что хотят, делают. У иных очень умны матери, а у иных очень глупы. Мать Леночки была забита мужем, приучена к подчинению чужой воле, и когда Леночка стала подрастать, Аграфена Митревна подпала ее влиянию.

Так и завязывались отношения между молодыми людьми. Впрочем, они еще не определились, хотя и можно заметить, что Молотов был более страдательным лицом. Что это значит? Бесхарактерность его? Он всему как-то странно подчиняется. Вот и Леночка — во всем указывала дорогу. Она первая написала письмо, первая руку пожала, первая пустилась

в откровенности и едва не слезы, да и во всем она как-то умела указать череду. Она била его цветами, едва на обняла, когда отыскала в кусту, кричала ему «пора» и его заставляла кричать «пора». Какой-то узелок завязывался в их отношениях. Характер Леночки несколько определился, а Молотов до сих пор стоит какой-то молчаливой фигурой. Мы до сих пор видели только, как он работает. Чем-то он скажется?

Время летело так быстро, как оно может лететь только в молодые годы. С каждым днем Егор Иваныч занимался усерднее, потому что с каждым днем прибавлялась срочная работа. Он по-прежнему беззаботен и юношески счастлив, по-прежнему верит в себя и ближних. Нам, старикам, досадно бывает видеть эту беспечность и веру юности. Нетрудно разочарование для того, кто смолоду ознакомился со злом, да и какое очарование для того, кто семилетним ребенком на грош не верил своему товарищу, что его надуют или сделают какую-нибудь пакость? Такой человек ходит всегда осторожно. Но вот такие люди, как Егор Иваныч, долго и упорно сохраняют розовый взгляд на мир божий. Правда, и он знает, что зла очень много в мире и очень много подлых людей. Но спросите же его, откуда это он узнал, — «слышал, читал», — ответит он вам. Где подлые люди? Они представлялись ему «там», в мире, в «свете». И ходил он, не глядя под ноги, не всматриваясь в окружающие его лица, не написана ль на них подлость. Неужели он долго еще не разочаруется, долго сохранит этот ясный, спокойный взгляд, который так досаден нам, старикам? Мы согласны, что юношеское неведение завлекательнее нашего старческого знания; но все-таки старческое знание лучше юношеского неведения. Да извинит читатель старика, который не мог посмотреть на юношу без зависти!

Воскресенье. Молотов свободен сегодня. Все дозревало в саду Обросимова, как и во всех садах приволжских. Громадные, в кулак величиною, яблоки гнули ветви дерев; малина в полном соку, а вишня уже перезрела; тяжелые кисти красной смородины висят до земли. Легкий ветер приподнимет аромат в саду, в чистом и прозрачном воздухе, и ходит в огромной некошенной траве, ходит вольно и скромно. Ровные, степенные звуки в природе, птицы поют не весенними голосами. Хорошо в такую погоду забраться в малину и полной рукой обирать крупные ягоды. Знаете ли вы то счастье, то довольство собою и всем миром, которое вытекает чисто из физических причин? Непременно знаете, если вы здоровый человек. Молотов наслаждался этим физическим счастьем. Он недавно выкупался; грудь дышит свободно; охладевшее тело согревается теплым солнцем, щеки его пылают здоровьем, в теле легко переливается молодая, неиспорченная кровь. Он силен в настоящую минуту, что угодно поднимет; но это спокойная, сосредоточенная в себе сила. Он оперся о сук яблони, и суставы у него хрустнули в пальцах. Ветер приподнял воротнички его рубашки и пробрался за пазуху. Стриж резнул своим пронзительным голосом над самой головой его, оставив звук жести в воздухе, так что он поневоле закрыл ухо. Недозревшее яблоко, падая, ударило его по плечу. Он взял яблоко, насадил его на хлыст и, потешаясь, как мальчик, запустил его под облака. «Какая вкусная малина! — думает. — Однако довольно». Но солнце так приветливо играет в пунцовом золоте одной ягоды, что сама рука протянулась к ней, а другая еще привлекательнее смотрит из-под зеленого листа, а третья еще соблазнительнее... и он эпикурейски роскошествует... Но вот его рука остановилась на полдороге к ягоде, взор его неподвижен, вся фигура не колыхнется. Увидел он что-нибудь? Ничего не увидел, а просто в полусонном, в полубодственном состоянии замер, вдыхая легко и ровно воздух. О чем же он задумался? Ни о чем не задумался, или, по крайней мере, самые незаметные, мимолетные, мелкие и легкие впечатления проходят по душе. Это самые простые, едва не животные отношения к природе. Так неподвижно иногда висит ветка в воздухе, так ребенок задумчиво смотрит на огонь, так пруд стоит, не колыхнется при вечернем освещении солнца. Мысль его замерла, ушла в глубь души. Ему хорошо, и черная зависть и злость тревожат мое старческое сердце, никогда не выдавшее таких безмятежных дней. Вот мягкий ветер пахнул ему в лицо и повел бархатом по щеке. Пенка обратила его внимание, а рука, остановившаяся

в воздухе, подносит ягоду к устам. В это время в калитке мелькнуло кисейное платье.

— Елена Ильинишна! — проговорил Молотов.

— Здравствуйте! — отвечала Леночка.

— Вы одни?

— С маменькой... Что вы так пристально на меня смотрите?

Молотов покраснел.

— Говорите же...

— Да ничего... так... мало ли...

В их обращении заметно что-то новое. Они как будто стыдятся друг друга. Леночка, начавшая разговор, притихла и смолкла. Был шестой час вечера. Они отправились в одну из беседок сада...

Позвольте рассказать небольшую историю о стриже. По малиновой аллее бежал Володя с новым прутом в руках. Мимо самого носа его пролетел стриж. Володя побежал на другую беседку, огляделся, взлез на крышу и стал бросать в воздух перья и пух. Стрижи хватили их на лету. У Володи явилось страстное желание поймать стрижа, этого мошенника, который не боится ни ястреба, ни человека, который так досадно смел, что летит едва не между ног ваших, летит стрелой по улице и полю, вьется с трепетом и криком на реке перед погодой.

— Подожди же, я тебя поймаю, — разговаривал Володя с птицей, а птица, как назло, летит мимо его.

— Хорошо! — говорит Володя.

Шевельнулась береза над его головой, закачались ветви, зашептали листья.

— А ты чего трясешь листьями?... Тебе что смешно? Посмейся, когда я поймаю его!

Володя со всеми перессорился... Потом он, приложив палец ко рту, немного подумал и сказал:

— А!.. подожди же!

Он бежит по малиновой аллее к Егору Иванычу. «Егор Иваныч все знает; он поймает стрижа». Но что поразило его, когда он добежал до другой беседки? Отчего он остановился у полуотворенной двери?

— Целуется кто-то? — проговорил он в раздумье. — Ах, какой я чудак! — прибавил он сейчас же. — Это мне слышалось.

И Володя резво вбежал в беседку.

Егор Иваныч сказал, что он не знает, как поймать стрижа, он обещал подумать. Тем и кончилась эта маленькая история.

Молотов и Леночка вышли из беседки. Молотов смотрел в землю, точно совесть у него нечиста. Леночка смотрела в сторону, изредка бросая косвенные взгляды на своего спутника. Глаза ее горели, они еще чернее стали, глубже и в то же время острее. Вы догадываетесь, куда они пошли? К мельнице. Леночка была тиха и застенчива.

Шли молча и скоро. Егор Иванович не мог оторвать своего взгляда от земли. Но Леночка оправилась несколько; раз, другой взглянула прямо на Молотова, почти повисла на его руке и так близко наклонилась к его плечу, что жар ее щеки охватил его лицо.

— Очень скоро, — прошептала Леночка.

Молотов еще ниже наклонился, точно каждое слово Леночки имело особую силу, садилось на его спину и гнуло ее.

— Теперь очень тихо, — сказала она.

В душе Егора Ивановича совершалось небывалое, никогда им не испытанное. Он со страхом прислушивался к трепещущему своему сердцу. Леночка нежно смотрела на Молотова, а его душа ныла от тоски; что-то неопределенное, смутное, но тяжелое беспокоило его. Нехорошие мысли появлялись в голове. То краска выступала на лицо, то в глазах светилась грусть, а в то же время в крови жар, в голове туман; прохладный воздух душен для него. Пришли, сели... Сидит он молча, уйти ему не хочется, хотя он, долго не думая, и порывается соскочить и броситься бежать, но... хочется сидеть тут, взглядывать на Леночку, слушать шорох ее платья, ощущать жар близкой к лицу ее горячей щеки. Сердце расширяется, и тоскливое чувство, сухое и неласковое, переходит в робкое предчувствие еще незнаемого существования, в ожидании событий душевных, которых он никогда не знал и не понимал. На лице его было написано: «Что со мной будет? Случиться что-то хочет». Полумысли нехорошие, которые бог весть откуда выходили, из совести иль рассудка, — пропадают. Все становится просто и понятно: и плеск реки, и киванье ивы, и долгий вздох Леночки, и птичья песня. Но вдруг он спрашивает себя: «Что я делаю?»

— Егор Иванович, — шепчет Леночка.

Молотова лицо серьезно. Он обдумал решительный шаг. Он хочет встать...

Леночка положила голову на его плечо... Молотов вздрогнул и закрыл лицо руками... Леночка смотрела своими чудными глазами в голубое небо задумчиво, мирно, кротко. Какая тихая, прекрасная жизнь горела в глазах ее.

— Я в монастырь пойду, Егор Иванович.

— Зачем?

— Спасаться буду...

— Что за мысли, Елена Ильинишна?..

Егор Иванович молчал, тоскливо глядя в воздух. Леночка то ляжет ему на плечо, то опять приподнимет голову; разбирает его волосы; одна рука ее лежит в его руке, вздохнет, прищурится и опять откроет свои блестящие глаза. Вот щека ее так близко к щеке Молотова... Егор Иванович взглянул ей в лицо, взоры их встретились, и — не знаем, кто из них кого поцеловал: губы их слились... У Егора Ивановича голова кружилась, в груди точно молоты стучат... Ветер отпахнул кисейный рукав Леночки и покрыл лицо Молотова...

— Люби меня, Егорушка, — прошептала Леночка.

Молотов молчал.

— Хоть не навсегда, хоть немного.

Молотов молчал.

Леночка поцеловала его в лоб.

Молотов ни слова.

И пели птицы тихие песни. Река в крутых берегах поднимала грудь свою; винтом прошел луч солнца до самого дна реки; летит мошка над водой; кузнечик трепещет в осоке; толпы комаров венчают свадьбу; по траве прошел мягкий ветер и стыдливо прокрался в сочные волны ее; горит медный крест колокольни... И поют легкие птицы тихие песни, и радуется мое оскопленное, старческое сердце, глядя на счастье молодых людей... Чужая любовь расшевелила его. Играйте, дети, играйте!.. Мы, старые люди, будем любоваться на вас...

Егор Иваныч встал. Лицо его озабочено. Он прислушивался к чему-то. На берегу показался Володя.

— Егор Иваныч, вас папа просит к себе. Молотов и Леночка пошли назад...

— Егор Иваныч, — спросил Володя.

— Что вам угодно?

— Сделайте дудочку.

— Пожалуйте, сделаю дудочку.

Леночка с Аграфеной Митревной отправились домой. Все семейство Обросимовых было в кабинете, куда пригласили и Молотова.

— Вам завтра ехать в город, Егор Иваныч, — объявил помещик...

— Хорошо-с, — ответил Молотов; но первый раз в его всегда покорном «хорошо-с» слышалась досада, которой, впрочем, никто не заметил.

— Кстати, Егор Иваныч, будьте так обязательны, не завезете ли письмо к Казаковой; к ней в сторону не больше четырех верст...

— Хорошо-с, — ответил Молотов.

— Мамаша, пусть Егор Иваныч купит барабан; вы давно обещались.

— Хорошо-с, — ответил Молотов.

— Кстати, захватите фунта три табаку.

— Хорошо-с.

— Заверните на почту, нет ли писем?

— Хорошо-с.

— Не можете ли узнать, почем ходят сукна?

— Хорошо-с.

— Вы бы записали, а то забудете что-нибудь...

— Я запишу-с.

Молотов раскланялся и вышел. «Черт знает что такое! — думал он. — На шею, что ли, хотят сесть? Не все же хорошо-с!.. Конца нет разным претензиям». Но Молотову скоро совестно

стало от своих мыслей. На него не смотрели как на наемщика; к нему обращаются, не стесняясь, не думая, что у него есть задние мысли. Ему надобно и самому купить кое-что в городе; он ожидал письма от Негодящева. Он обязан ехать в город. Главное же то, что он любит Обросимовых, и если у него явилась досада, так будто мы не досадуем на того, кого любим?

Так наконец дошло и до того, что Егор Иваныч любит Леночку? Она положила на широкое плечо Молотова свою милую головку с роскошной косой, с черными, страстными глазами, вишневыми устами и розовыми, горящими ярким румянцем щеками... Он любит?.. Ему не заснуть сегодня спокойно, не усидеть дома. Он гуляет ночью, и, значит, по всем признакам, он любит. Прощальный поцелуй горел на его щеке... Он ощущает силу в сердце, полноту в теле... Вот он остановился у реки и смотрит в ее тихую воду; забылся совершенно, прислушиваясь к голосу какой-то ночной птицы. «Завтра в город поеду, — думает он, — нет ли письма от Негодящева?» Сел на берег и напевает что-то; бросил камень в воду и прислушался чутко к нападению его и всплеску реки... Опять поцелуй загорел на его щеке; но вдруг сердце сжалось, он со страхом огляделся вокруг, но ничего не увидел среди темной ночи. Егор Иваныч быстро встал и крупными шагами пошел к дому. Новые мысли заходили в голову. «Это слишком, это слишком! — прошептал он. — Боже мой! К чему же все это поведет?» Поцелуи не горели на его щеках. «Что я тут за роль играю?» Егор Иваныч, наклонивши голову, шел быстро. Если бы не ночь, можно бы рассмотреть сильное волнение во всей его фигуре. «Ведь это значит», — начал он вслух и не договорил, что «это значит», а неожиданно как вкопанный остановился на дороге. Егор Иваныч вслух говорит. Есть люди с сильно развитым воображением, имеющие привычку разговаривать с самими собою: они остаются до старости детьми, играющими вслух. Егор Иваныч не по той причине заговорил: по всем признакам, он любит... «Боже мой!» — прошептал он и двинулся большими шагами. Долго шагал он. Но вот... Молотов идет тише, дыхание ровнее, он видит что-то в воздухе, ноздри дышат широко, раскрываются губы, и он целует воздух... Но, черт возьми, зачем это лезут в голову думы, смущающие мысли? Зачем припоминается та страстная ночь, фантастическая ночь, когда он слышал плач и смех своей «по гроб верной и любящей» девы? Зачем старый образ тревожит душу? Иль он не старый, не пережитый, не забытый еще? «Эва, ученость-то!» — в ухе сам собою возникает этот раздражающий нервы звук, дразнит его, и сердит, и тревожит совесть. Он хватается за голову руками, а в голове жар от прилившей крови. «Неужели так любят? — раздумывает он. — Так ли?» — разводит руками и шагает сердито. «Говорят, кто любит, не стыдится своей любви... правда ли это?.. Может быть, и все так?» Беспокойные, требующие ответа мысли не отстают от него. «Ведь это не шутка, серьезное дело!» Так, волнуясь, он дошел до дому, вошел в комнату. Он зажег свечу и сел к окну. Мрак ночной увеличивался от комнатного света. Он долго смотрел в открытое окно: темно, ничего не видать; лишь слышно, как шепчутся листья и скрипит калитка. Он засмеялся вдруг... хорош ли его смех? Трудно разглядеть предметы... Навесившиеся березы чрез забор кажутся гигантами, качают головой, наклоняются, приседают. Бездна мрачного воздуха... Из птиц одна только болотная птица кряхтит своим нехорошим голосом... В церкви ударило одиннадцать; дробью забили вдали караульные... Не видно, но слышно, как волна идет по пашне. Но что это за крик несется с улицы? То мчится пьяный детина от кума; мчится он, стоя торчмя на телеге; намотал он толстую веревку на руку и дует со всего размаху по хребтам лошадиным. Кони, одурев, несутся, а пьяный детина только ухаает, стонет да свистит. «Эх вы, распроклятые!.. Ну!» — и слышно, как вцепилась веревка в спину лошадиную... Опять все стихло... «Что, если заметил кто-нибудь? — думает Молотов. — Ведь нетрудно было заметить», и он опять начинает волноваться... Петухи запели... Лениво помолился Молотов на икону и бросился в постель.

Молотов вернулся из города с множеством покупок и писем, но в этих письмах ни одного не было к нему. Друг его Негодящев не писал. Были письма к Обросимову, его дочери, даже

Володе писали поклоны от других детей и сообщали ему интересные для него новости... Все бросились с жадностью к куче писем. Молотову стало грустно, что с ним редко случалось. Ему завидно было, зачем нет у него матери, сестры, досадно, зачем Негодяцев ничего не пишет. «Неужели он забыл меня? Вот уже вторая почта, и ни строки от него». Молотов, отделавшись от вопросов, которыми закидали его, пошел в свою комнату, достал из шкатулки небольшую пачку писем и стал перебирать их — некоторые читал. «Что старые письма читать? — проговорил он. — Экой какой, ничего не написал». Чувство одиночества охватило его душу. Ничего не было у него ни за собой, ни пред собой... ни родственников, ни покровителей, не было угла своего, он — скиталец, вольнонаемный работник. «Обросимов — добрый человек? Но все-таки чужой!..» К скуке присоединилась физическая усталость. Он был в дурном расположении духа и сидел как в воду опущенный, перебирая старые письма. «Может быть, и дружбе конец? — подумал Молотов. — Такие ли друзья расставались? Может быть, он не хочет поддерживать старых отношений?» Но вот ему попался на глаза документ, на котором значилось: «по гроб верная и любящая». «И забыл совсем!» — сказал он и с досадой спрятал шкатулку. Он пошел в сад. В природе все было кротко и тихо, а на душе Молотова досада, скука, утомление и чувство одиночества — состояние ненормальной для его натуры, редкое и потому особенно тяжелое.

«Кто это произнес мое имя?» — подумал Егор Иваныч. Он подошел к беседке. Ясно слышался разговор между Обросимовым и его женою.

— Это клад достался нам, — говорил Аркадий Иваныч.

— Признаться, я не совсем понимаю его, — ответила жена.

— Что же?

— Что ни заставь, все сделает...

— Это умнейший молодой человек, — ответил муж, — я все думаю, как бы приурочить его к нашему гнезду. Я бы и за жалованьем не постоял, но сама ты знаешь, какие у меня теперь расходы.

— Ах, душенька, поверь, он сам рад, что попал в нашу семью... сколько раз он об этом говорил! Этим людям кусок хлеба дай, и они что хочешь будут делать.

— Что делать!.. Бедность! — сказал со вздохом Аркадий Иваныч.

Аркадий Иваныч оставался верен себе: он всегда и всех защищал и оправдывал.

— Нет, не то, — сказала жена, — ты согласишься, что у них нет этого дворянского гонору... манер нет...

— Что ж делать, мать моя! Порода много значит.

— Они, я говорю, образованный народ, — продолжала жена, — но все-таки народ чернорабочий, и всё как будто подачки ждут...

— Что же? Можно сделать ему подарок какой-нибудь. Он стоит того.

— Я думаю, часы подарить...

— Это привяжет его... А что ни говори, жена, — эти плебеи, так или иначе пробивающие себе дорогу, вот сколько я ни встречал их, удивительно дельный и умный народ... Семинаристы, мещане, весь этот мелкий люд — всегда способные, ловкие господа.

— Ах, душенька, все голодные люди умные... Ты дворянин, тебе не нужно было правдой и

неправдой насущный хлеб добывать; а этот народец из всего должен выжимать копейку. И посмотри, как он ест много. Нам, разумеется, не жаль этого добра; но... постоянный его аппетит обнаруживает в нем плебея, человека, воспитанного в черном теле и не видавшего порядочного блюда... Не худо бы подарить ему, душенька, голландского полотна, а то, представь себе, по будням манишки носит — ведь неприлично!..

— Я не замечал этого...

— Где ж вам, мужчинам, заметить...

— О, бедность, бедность! — сказал со вздохом Обросимов.

— Мне кажется, душенька, ты очень много доверяешься ему...

— Помилуй, жена, я не так прост, как ты думаешь. Нынче очень много развелось скромных люден с удивительно хорошей репутацией, которые, кажется, воды не замутят; но этих-то людей и надобно остерегаться. Скромные люди ныне в большом ходу, дослуживаются до чинов, наживают именья и дома строят. Что ж? Я ему желаю всякого добра... но надо быть осторожным да и осторожным. Выглядит такой невинной девушкой, а сам все видит, ничего не уйдет от его глаз. Вначале я говорил ему, чтобы он не очень хлопотал — деликатность того требует; а он точно не понял, в чем дело. Правда, займется неделю хорошо, а там, глядишь, день, другой, третий разгуливает. Я ему стороною стал намекать, что не худо бы вот эту или эту статью поскорее кончить, — догадался наконец и сел поплотнее... Или, думаю, зачем он на фабрику так часто ходит? Что же? — «Я, говорит, займусь на фабрике с годик, так и сам, пожалуй, управлюсь с ней». Догадайся, к чему это сказано?

— К чему же?

— Это он в управляющие метит...

— Будто?

— Честное слово!.. Он знает, что я управляющим недоволен; но тот украдет какие-нибудь пустяки — у меня много не украдешь... но зато свое дело знает.

Егор Иваныч не мог более слушать. Он опрометью бросился прочь от беседки, боясь, что заметят его. Разговор между тем продолжался...

— Впрочем, по моему понятию, Егор Иваныч очень порядочный человек... Терпеть не могу этих свистунов, которые ничего не делают, а только проповедуют разные идеи... Оно хорошо, да ты сначала сделай, а потом уж говори... Россия нуждается в рабочих. Зачем же правительство дает им образование? Уж, разумеется, не затем, чтобы из них выходили просвещенные проповедники. И такие скромные, как Егор Иваныч, люди для меня лучше свистунов и крикунов, которые ничего не делают.

Зачем же убежал Егор Иваныч? Его хвалили ведь? Между тем Аркадии Иваныч развивал свои идеи.

— У нас только дворяне, изредка попovichы да дети чиновников получают сносное образование. Массы коснеют в неисходном невежестве. Нам не пять, а двадцать надобно университетов. Тогда, если и понадобится дельный и образованный человек, его нетрудно будет найти; а то теперь все, что выходит из университетов, поглощается министерствами и губернскими правлениями. Запросу на ученых много, а продукта этого мало, оттого он и дорог. Посмотрите в других государствах — в Германии, например. Геттингенского университета кандидат сапоги шьет, табаком торгует, там на самое последнее место является множество ученых претендентов... А у нас? Терпеть не могу этого самохвальства:

«Мы, русские, шапками закидаем и немцев, и англичан, и французов!», а на деле дрянь выходит. Скажи же эти простые истины нашим помещикам, куда тебе! — Либерал, вольтерьянец!..

— Отчего же, душенька, наш народ так невежествен?

— А правительство должно заботиться.

— Тише, Аркадий Иванович, кто-нибудь услышит.

— Никто не услышит... Сам народ никогда не поймет той пользы, которую принесет ему наука; от грамоты открещается и отплевывается. Правительство должно построить университеты, гимназии, училища, школы и насильно гнать туда народ. Всех, кто научился читать, можно освободить от телесного наказания. В Германии, например, не знаешь грамоты, тебе и причастия не дадут.

— Ты, Аркаша, не высказывай этих идей...

— Стану я в пустыне проповедовать... Вот хоть Егор Иванович — дельный человек, куда хочешь его употреби; а откройся место, сейчас в чиновники уйдет. Будь же у нас просвещение сильнее, таких Егоров Ивановичей явились бы тысячи. У нас бы каждая деревня имела своего учителя, врача, издавала бы каждая деревня свою газету. А теперь? Нет людей, нигде нету, оттого они и дороги.

Значит, мы не ошиблись, когда сказали, что не наш национальный экономический закон существовал в отношениях Молотова и Обросимова. В основании этих отношений лежал принцип просвещенного человека, и, что всего удивительнее, этот принцип существовал уже лет четырнадцать назад, а разные обличители кричат, что мы спали все это время... нет, мы принципы вырабатывали, которые теперь во многих местах нашли уже практическое приложение. Многие гораздо ранее Севастопольской войны понимали, что образование нам необходимо, что тогда дешевле будут люди, и многие тогда уже из просвещенных видов отдавали своих людей в науку и дома устраивали школы. Усильте просвещение, ученых будет много, — оттого они сдешевеют, придут к нам просить работы и за дешевую цену будут делать отлично дело. Словом, нам будет выгоднее. И выходит, что Аркадий Иванович был передовой человек... После доброй беседы всегда посещает душу и чувство доброе.

— Отчего это, жена, мы не целуемся давно? — спросил передовой человек.

— Стары стали...

— Будто старикам запрещено целоваться...

Раздался поцелуй в той самой беседке, по поводу которой мы рассказали небольшую историю о стриже.

— Господи, как время-то идет, — говорил Аркадий Иванович, — двадцать семь лет прошло после свадьбы, а ты и теперь еще недурна.

Раздался снова поцелуй... Только два поцелуя и было. Обросимовы отправились домой.

Егор Иванович однажды думал: «Отчего это здесь, в Обросимовке, хорошо так, легко живется?» Между прочими причинами отыскалась и такая: «Весело смотреть, как все счастливы здесь, а счастье заразительно». Как же он должен быть счастлив, когда двадцать семь лет спустя после свадьбы здесь раздался нежный поцелуй?

Всю душу его поворотило.

«Плебей?.. Нищий?.. Дворянского гонору нет?.. А я, дурак, думал, что они меня любят и доверяют мне... Черти, черти! Они мне подачку готовят!.. Вот как они смотрят на меня! Хорошо же!..»

А что «хорошо же»? Первая мысль, которая пришла ему в голову, это оставить дом Обросимова; вторая, что он издержался в городе и у него не много осталось денег. Думал, думал он, и конца не было тяжелым думам. Он дошел наконец до того, что сказал: «Ну, бог с вами!.. Не нужны вы мне!», а потом не вытерпел и сряду же обругался: «Негодяи, аристократишки, бары-кулаки!» Припомнились ему думы в какой-то прекрасный вечер: «Жизнь Обросимова — это жизнь человека образованного, но не поломанного, жизнь под теми же липами, под которыми он родился и где протекло его детство». Теперь он смеялся над своими старыми мыслями. Шевельнулись неведомые до сих пор вопросы; они смутно пробивались: «Куда лежит моя дорога? Кому я нужен на свете?.. Один, один!.. И с Андреем, кажется, покончено?.. Но куда бы то ни было, а уйду отсюда». Очень тяжело было молодому человеку, но он еще не сознал своего положения. Наступила ночь, и он скоро забылся.

Проснулся Егор Иваныч, как и всегда, в добром расположении духа. Он припоминал какой-то сон, который совершенно выскользнул из памяти, и оттого выражение его лица было неопределенное. Он не мог даже припомнить, каков был сон, хорош или худ. Но то не сон был, а действительность вчерашнего дня: она не сразу далась его сознанию, а сначала смутно, как забытый сон, представлялась ему. Мое старое сердце радовалось и питалось желчью: оно видело последние минуты детского счастья, золотого, молодого счастья; оно не завидует теперь, оно спокойно. Теперь плебей узнал, что его кровь не освящена столетиями, что она черна, течет в упругих, толстых, как верви, жилах и твердых нервах, а не под атласистой белой кожей, в голубых нитях и нежных... Мое старое сердце знает, что человек сам усомнится в своих достоинствах, когда познает этот общественный, мало того — общемировой закон, который так осязательно представился тебе... Ты почувствуешь силу, которая существует во всех странах мира, которой до сих пор не знал и которой не верил.

Егор Иваныч слово в слово припомнил разговор помещика, и в тот день он перекреститься еще не успел, а уже ругался. Он почувствовал в себе присутствие дурных инстинктов, которые теперь проснулись в нем: в нем злость заходила, драться ему хотелось. Потом в каждой черте его лица, в складке губ, в глазах, повороте головы выразилось глубокое, беспощадное презрение. В грубые и крупные слова одевалась мысль его. «Белая порода!.. Чем же мы, люди черной породы, хуже вас? Мы мещане, плебеи, дворянского гонору у нас нет? У нас свой есть гонор!» Так он глуп и горд был, что ему верить не хотелось в возможность вчерашних речей о породе. «Быть не может!.. За что же!.. Чем мы хуже их?» Нелепостью ему представлялся вчерашний разговор, нарушением здравого смысла. «Неужели везде так?» — шевельнулся у него вопрос, и сердце у него упало. Иногда достаточно одного случая, чтобы убедиться в тысяче подобных; есть факты, в которых выражается идея, присущая многим фактам. Когда он понял, что Обросимовы оттолкнули его под влиянием общественного закона, что ему предложили держаться дальше, не спрашиваясь его согласия, а не то его без церемонии отодвинут и он должен будет попятиться, — тогда тоска напала на него. «За что же? — прошептал он. — Да нет! Этого быть не может!» Молотов не мог примириться с мыслью, что он явился на свет неполным человеком, с лишением некоторых прав; что для многих оскорбительно, когда он будет относиться к ним открыто и с достоинством, как к равным. «Не нужны вы мне! Но за что же?» — он спрашивал. Не нужны? Нет, ему тяжело было убедиться, что Обросимовы не могут уважать его, как они уважают своего собрата. Этот человек, не понимавший до сих пор, что он мещанский сын, был жалок в настоящую минуту. «При всем этом они думают, что я навязывался к ним, хотел быть своим в этой барской семье?» Совесть ему ответила: «Да, сначала ты по какому-то инстинкту не хотел сблизиться с этими людьми, а потом обманулся и считал помещика чуть не родственником; ты думал, что все, как старый профессор, будут тебе бабушкой». Он, как обожженный, соскочил от этой мысли и, разумеется, обругался, но

теперь он себя бранил. Тогда сказала эта гордая натура. Ему совестно было самого себя. «Как, я заискивал? Это с какой стати? Разве они нужны мне?» — этот вопрос невыносимо мучил его. «Нет, я им скажу, что они лгут; я в них не нуждаюсь и знать их не хочу». Но лишь только явилась эта неразумная мысль, как Егор Иванович отказался от нее. «Это значило бы, что я претендую, зачем не стал своим в их семье... Это та же навязчивость!» После того он решил не показывать и виду, что слышал несчастный разговор, так обидевший его гордость, возмущивший его душу; он понял, что тогда еще больней, еще обидней было бы для его гордости. И в то же время он почувствовал, что отделяется от общей массы людей, перестает быть какою-то неопределенною личностью, он находит свое место в обществе и занимает его. Люди, прежде близкие, стали ему чужды и далеки. Он, зорко наблюдая окружающие его лица, к удивлению своему, находил, что они незнакомы ему, что он видел только похожие на эти, но не эти самые. У матери совсем не доброе лицо; в глазах папаши так и светится дворянин-кулак; у дочери лицо красивое, но посмотрите, какое надутое. «Это не наши, — говорил он. — Как же я не разглядел ваши рожи?» (Он в патетических местах часто употреблял крупные выражения.) «Где же наши? — спрашивал он. — Кому же я-то нужен?» Все его беспокоит, дразнит, поднимает все силы, делать велит что-то. Новое тревожное чувство всею силою молодой жизни прошло чрез его душу; неведение и страх будущего охватили его. Но одна беда не ходит. Не сегодня, так завтра Молотов оставил бы Обросимовку; но, к несчастью, он издержался в городе, денег у него было мало, а еще одиннадцать дней осталось до конца месяца, значит — и до получения жалованья сорока рублей. Эти одиннадцать дней будут ему долго памяты. Часто он, понутив голову, ходил в саду крупным шагом и в забывчивости иногда остановится, подумает что-то, махнет рукой и опять шагает. С той минуты, как он остался в деревне на одиннадцать дней, к чувству оскорбленного самолюбия прибавилось постоянное чувство угрызения совести. В душе он бранился, а прямо в глаза людям, его окружающим, смотреть не мог... Положение среди чужих людей стало крайне фальшиво и бестолково. По обыкновению, по привычке жена Обросимова попросила его что-то сделать. Он не нашелся, сжал только зубы и проговорил: «Хорошо-с». Это наконец глупо! — скажут иные. Что же делать! Он не приобрел еще той житейской наглости, при которой так легко отстранить желание ближнего сесть на вашу шею и прокатиться на ней. Впрочем, потом как-то он ухитрился отказаться раза два-три от поручений, которые он не обязан был исполнять. В нем быстро развивались подозрительность и мнительность; так и чудилось, что везде следят за ним, потому что «его насквозь знают», потому что он «умный молодой человек» и живет «не у дурака». Подозрительность его росла не по дням, а по часам... Сядет он за стол, боится лишний кусок взять, — так ему и припомнится этот прекрасный комплимент дамский: «Как он ест много!» Этот комплимент был плохую приправою к обедам, чаю и десертам помещика. Женщина сильнее умеет обидеть, чем мужчина: в ее жалобе, в ее упреке всегда слышится, как будто вы ее угнетаете, будто ей трудно вас победить, и смотрит она, точно просит пощады; захочет уязвить, так отыщет самую больную струну. Просто сказано: «ест много»; а эти слова всего тяжелее легли на сердце Молотова. Он слышал в этой фразе самое беспощадное презрение к своей плебейской натуре. Ему казалось, что Обросимовы в нем ничего не рассмотрели, кроме брюха, что он в их глазах не что иное, как большой-большой живот. Это было обидно для Молотова. Бывало, заберется он в огромный сад, который так предлагали ему обязательно, и роскошествует в нем; а теперь каждое яблоко, слива и малина напоминали ему, что он батрак, которого надобно приурочить. Кажется, и конца не будет этому тяжелому месяцу, а он и приноровиться не может, как ему вести себя: то усиливается держаться с Обросимовым наравне, что прежде выходило без всяких усилий, само собою, то заберет вдвое выше, то смотрит обиженным. Он рад был уединению. Так прошли четыре дня. Все стали замечать перемену в нем. «Здоровы ли вы?» — спросила его однажды хозяйка. «Здоров-с», — ответил он, а сам подумал: «Следят за плебеем, следят!..» Он отказывался несколько раз от чаю, чтобы только реже видеться с семейством... Он похудел... В ответах его было что-то странное, резкое, большею частью они были односложны. Видели, что он полюбил уединение; видели, как он опускал над работой голову и долго о чем-то думал. Он есть меньше стал... Все это обращало на себя внимание, всё это замечали. Для него

наступило время, когда так легко портится характер.

...Егор Иванович сидел измученный и угрюмый в своей комнате. Вошел Володя.

— Что-с? — спросил неприветливо Молотов.

— Егор Иванович...

— Что?

— Вы не будете сердиться за то, что я вам скажу...

— Нет, ничего, говорите, — отвечал Молотов мягче.

— Я вас нынче боюсь...

— Полно, дружок, — сказал ласково и грустно Егор Иванович, — разве я обидел вас? Полно, Володенька, мы всегда были друзьями. Ведь вы меня любите?

— Да, вы хороший, добрый такой...

Егор Иванович погладил его по голове.

— Что же вам нужно?

— Савелий привез вам письмо...

— Из города?

— Из города.

— Где же оно? Ах, да вы и не принесли!

— Я думал...

— Скорее же бегите и несите, скорее, Володя...

— Сейчас!.. Я живо!..

Егор Иванович заметно восторжен. «Это он, непременно он!.. Что-то пишет?.. Спасибо тебе, Андрей!»

— Вот! — сказал Володя, вбегая в комнату и подавая письмо.

Егор Иванович взглянул на адрес и вскрикнул:

— Он и есть!.. Володенька, я хочу один остаться...

Вот что писал к нему Негодящев: «Задуманный друг, Егор Иванович!

Насилу время нашел, чтобы написать тебе письмо. Не поверишь, сколько дела: шесть следствий сряду произвел, изъездил четыре уезда, перевидал множество людей, переписал множество бумаги. Поздравь меня, я вполне чиновник, наглухо застегнутый, бескорыстный и бесстрастный, как сама Фемида[6], хотя и не завязаны у меня глаза. Я всегда говорил, что создан для следственных дел... Служу пока счастливо, но не без хитрости. Чиновник должен быть великим психологом... Ты думаешь, что если чиновник знает свое дело и не кривит совестью, так он уже и полезен обществу? Нет, при таких условиях успех не всегда верен, нужно еще быть и психологом. Необходимо изучить начальников, подчиненных, сослуживцев, их жен, знать весь город как пять своих пальцев; всякую сплетню надобно уметь

предупредить, всякую подлость и каверзу... Подкопов бездна! Потому что я хоть и не великая птица, но тяжел им пришелся. Тот, кого у нас зовут «сам», в моих руках. Помню, что ты говорил против моей системы, доказывая, что в ней большая доля иезуитства. Но если тебя на неделю послать сюда, ты увидишь, что нет больше средств на свете. Здесь все враги закона, а нас самый небольшой кружок. Мы отбываем свой пост, насколько то возможно. Целый год я трудился, чтобы выворотить секретаря вон, — выворотили наконец!.. И никто не знает, откуда ему такое счастье. Я с тобою всегда был откровенен... Ты спросишь, кто я такой: наушник, доносчик, фискал? Ничуть не бывало!.. Я дипломат и психолог: моя задача так вести дело, чтобы провалился негодный человек, подвести его на службе, напугать, повредить ему. Впрочем, я не прочь и шепнуть кому следует на ухо, что можно. Мы все знаем, что надобно делать, но не знаем, как делать. Пишу теперь вообще, сообщаю только свои служебные начала. Походжений своих не описываю.

Главная цель моего письма — ты. Я довольно хорошо основался здесь, имею некоторую силу и, руководствуясь своею системою, подвожу мину под одного чиновника. Это негодный человек, на совести которого немало черных дел. Он непременно провалится — час его пробил! Вот тебе и вакансия. Кроме того, «сам» ищет дельного чиновника. Я говорил ему о тебе, и он соглашается принять тебя. Вот и другая вакансия. Прошу подумать серьезно о моем предположении. Опять мы заживем по-старому; я посвящу тебя в наш кружок; здесь довольно весело; жалованья меньше, чем в Обросимовке, но зато есть шансы для будущего. И что ты забрался в Обросимовку? Там ли твое место? Ты должен делать другое дело, а не тратить жизнь на службу какому-то барину. Разве в том твое призвание? Но я и забыл твои понятия о призвании. Ты обложил себя книгами, вглядываешься в жизнь, изучаешь себя и людей и только после такой работы хочешь добиться, к чему ты привязан... Вопрос поистине громадного размера! Шутка ли, на двадцать третьем году он хочет понять себя за всю прошлую и за всю будущую жизнь, составить программу, да потом и выполнять эту программу! Но, друг мой, мы родились жить, а не составлять программы. Живи и учись, одно от другого не отдирай насильно, а то бог знает до чего можно додуматься. Не ты первый, не ты последний. Иной создаст себе норму жизни, носится с нею, кричит, трепещет, а чем кончит? Как идиот, упрямо тянет многолетнюю лямку, самим на себя наложенную, — и самому-то наконец ему тяжело, и люди на него пальцами показывают, и спину ему ломит, — но нет, несет свое ярмо, свою проклятую ношу, самим же на свои плечи взваленную, и оглянется потом бедняга, да уж поздно, часто сорок лет стукнуло, нет молодых сил и энергии. Что же остается? Заплакать о даром потраченной жизни, озлобиться на весь мир, запить или сделаться лежнем, байбаком? Мало ли у нас этих рыцарей печального образа? Нет, мой друг, жизнь пускай нас учит, а не будем выдумывать жизни. Два-три следствия лучше познакомят тебя с человеком, нежели сто книг, — только смотри всему прямо в глаза, смело всему давай свое имя. Ошибешься — поправиться можно; тогда лишь не поправишься, когда упрямо пойдешь по одной дороге. Жизнь сама скажется. Ты опять спросишь, какое твое призвание? Ты все делать можешь. Притом, разве ты не можешь служить и в то же время изучать свое призвание, если тебе уж очень нравится это занятие? Знаю я твои запросы от службы. Иногда подумает: что, если этот человек попадет на свою дорогу? Вон он сидит теперь сиднем, а как разомнет кости и пойдет шагать, так куда тебе и Илья Муромец! Дайте ему только осмыслить все, привести в систему, понять всякое явление и всю жизнь связать одною идеею, а уж там ведь «тряхнул кудрями — дело вмиг поспело»[7]. Жизнь осмыслить? — Никогда ты ее не осмыслишь! Где ее одолеть, и притом не зная хорошо? Бери ее наконец без смысла или добивайся смыслу и в то же время служи; для службы человек создан. «Мы не приготовлены к труду». — Сам готовься. — «Мы не чувствуем любви к той или другой службе». — Без любви служи. — «Этак засохнешь на службе». — Сохни, Егор Иваныч, сколько тебе угодно! Кому какое дело до бесполезного человека? От тебя и не потребуют любви к службе; нам нужны твои ум, честь и труд, а любви, пожалуй, и не надо; ее и в формуляр не вносят... А то вы и на службе ищете счастья, а не пользы общественной. И любовь, и удовольствие, и прогулка среди лесов, и луна, что ли, — все это должно быть на втором плане в нашей жизни. Поэзию всякий любит; нет, надобно в прозе покушаться — ведь

от нее не убежишь. Наконец, вы и к поэзии притупляетесь, создаете бог весть какие стремления, которых и сами определить не можете. Мы тоже любим и закаты солнца, и май, и негу, и поцелуи, и вечернюю зарю, но мы и ломать себя умеем... Можно читать «Фауста» и служить очень порядочно, не носить докторской хламиды, а приличный вицмундир. Прочь вопросы! Их жизнь разрешит, только бери ее так, как она есть, не прибавляя и не убавляя: без смысла жизнь, живи без смысла; худо жить, живи худо — все лучше, чем только мыслью носиться в заоблачных странах. Прямая линия не ведет к данной точке, так есть ломаная. Ты бы хоть посмотрел на своих товарищей; большая часть населила присутственные места; немногие пошли в учителя и продают теперь старые познания; один уехал в Китай; очень немногие промышляют только частными делами, и между прочим наш любезнейший Патокин читает газеты у слепой княгини Зеленищевой, но и тот ищет протекции для чиновной же карьеры. Двое женились уже. А ты-то что же? Должность твоя не много повыше Патокина. Правда, ты писал в последнее время, что занялся с сыном помещика и хочешь отыскать, по своему обыкновению, искру божью в этом болванчике; но ведь это все-таки служба частным лицам, а будто мы к тому готовились? Смотри, придется вспомнить мои слова, что частная служба хуже общественной и относительно гонору и относительно выгод. Ты опять спросишь, где же служить? Так считай же: ты не можешь быть доктором, не можешь быть купцом, архитектором, механиком, литератором, баринном, священником... ты можешь быть чиновником — это неизбежно. Больше и говорить не хочу. Я высказал откровенно свои мысли и прошу тебя подумать хорошенько о моем предложении. Пора начинать карьеру. А как мы знатно заживем!.. Опять вместе, опять воротятся старые годы!.. Довольно, хотя и есть что написать. Завтра рано еду в Д* на следствие. Дела пропасть... Подумай о моем предложении, а теперь прощай! Друг твой

Андрей Негодящев ».

Лицо Егора Иваныча было грустно и в то же время выражало недоумение. Он еще раз прочитал письмо все сполна, потом читал его по местам, отрывками, а сам думал:

«Вот чиновные принципы, возведенные к вечным началам разума!.. Трансцендентальное[8] чиновничество!.. Фауст в вицмундире, Гамлет канцелярии его превосходительства!.. Боже мой, много ли времени прошло, а уж ты, Андрей, начинаешь подаваться! Ты ли это говоришь! «Если прямая линия не ведет к данной точке, то есть ломаная»? Остается один шаг до убеждения, что можно и дугой дойти до того же... Хорошо же ты философствуешь и обличаешь! Громи, добрый сын отечества, громи! Неужто надобно опутать всех, надуть, быть психологом и дипломатом? Да лучше бесполезным человеком остаться. Вот дорога: либо подличай, либо ходи по ломаной линии. Это возмутительно, этого быть не может! Иначе даю честное слово навсегда остаться бесполезным человеком».

Молотов опять открыл письмо. Его внимание остановилось на тех местах, где идет дело о призвании, карьере, службе. Эти места подействовали на него. Резко высказанные, они ясно встали пред его воображением и неотступно требовали ответа. Трудно было что-нибудь сказать против той истины, что Молотов готовился не для службы частным лицам, хотя и оскорбило его слово «болванчик», приложенное к Володе, мальчику очень умному. Трудно было спорить с тем, что служба государству есть общечеловеческое призвание. Он сам уже дошел до вопроса: «Я уйду отсюда, но куда?» Потому письмо поразило его. «Неужто в канцелярские Гамлеты?» — он спрашивал себя. Вопрос требовал ответа действительно. Молотову хотелось отбиться от него, подавить его хотя на время, потому что тяжело, мучительно тяжело идти на службу сегодня, когда вчера еще не знал, какую избрать дорогу, да вовсе и не думал о том, а жил день за днем, как птица, без заботы, без будущего. Это минута критическая, потому что служба — полжизни нашей. Ему хотелось хоть на время обмануть себя, а когда человек захочет доказать что-нибудь, он непременно докажет. Я знал одного крайне упрямого господина, который если доказывали что-нибудь противное ему и

если он не находился в данную минуту что-нибудь отвечать, то всегда говаривал: «Постойте, господа, постойте, дайте подумать, я вам непременно скажу что-нибудь». Подумавши, он изворачивался и действительно изобретал резон. Если его ловили и на этом резоне, то он опять просил; «Постойте, господа, постойте, дайте подумать, я вам непременно скажу что-нибудь». Словом, за ним не угоняешься. Это к тому, что Егор Иваныч, напрягая силы, чтобы отвязаться от назойливых вопросов, успел изворотиться с удивительною ловкостью древнего диалектика. Он прибегнул к правилу: «Если тебя обвиняют, ты не оправдывайся, а обвиняй сам». Прочитав слова: «без любви служи», он пришел сначала к той мысли, что нигде не нужен слуга без любви к службе, потом, что он не машина, а человек тоже. А «тряхнул кудрями — дело вмиг поспело». Это что такое? Надо мной смеется или над поэтом? Боже мой, писать-то как легко! Давайте, всех обличу, всем определю призвания и род занятий. А как горячо пишет? От души, так и кипит, и все-таки неправду, — значит, и от души лгать можно. Но нет, тут и правда есть, правда горькая. Не о себе ли ты пишешь? Думая обличить меня, ты обнаружил свою душу, ту болезнь, которую носишь в ней теперь. Ты уже выдумал норму и носишься с нею едва ли не так, как тот идиот, о котором говоришь, что он своими руками надел себе на шею проклятое ярмо. Верно, не легко ходить по ломаной линии, и ты уже чувствуешь тяжесть своей нормы, она гнет тебе спину, оттого ты и кричишь в письме: не меня, а себя обличаешь! О ком ни пиши, все одно: душевное состояние скрыть трудно, оно слышится в твоём письме с полуслова, сквозит между строками... Призвание?.. Ты уже Фауст в вицмундире, а я еще Молотов; ты уже создал норму жизни, и какую норму! А я все еще нет. Я только одно понял: мое призвание — жить... всей душой, всеми порами тела жить хочу. «Бери жизнь, как есть она, не прибавляя и не убавляя»? Да вон она, вон смотрит в глаза; она идет, в дверь стучит. Я не могу пока постигнуть, что она такое, но без смысла не возьму ее; разгляжу я жизнь, разниму по частям, душу ее выну. Я и учился для того, чтобы жить; государству часть себя отдам, а весь не отдамся. «Эх, Андрей, поговорить бы с тобою. Да подожди, я напишу тебе». Видите ли, читатели, как легко отделаться от назойливых вопросов, но, поверьте, отделаться только на время. Он сел писать письмо и описал все, что случилось в Обросимовке, только о Леночке не упомянул, вероятно потому, что с расстоянием уменьшается откровенность. Письмо отвело душу Молотова, но не надолго. Ему хотелось живой речи, а вот уже несколько дней, как Егор Иваныч прервал все искренние отношения с окружающими лицами. Он все злился в это время; его мучила гордость. Горячая кровь ключом била в молодом, здоровом организме Егора Иваныча, и в это-то время пришлось ему испытать немолодую злобу. Его ломало и коробило. В чистую кровь благородного и добродушного плебея жизнь начала вливать дурные соки. Да, наступила пора, когда так легко портится характер человека...

В тот же день Марья Павловна сказала своему супругу:

— Ты ничего не замечаешь в Егоре Иваныче?

— А что?

— Он после поездки в город как в воду опущенный.

— Да; что-то странное с ним делается; никогда я не видал его таким... даже похудел...

— Нет ли у него каких неприятностей?

— Должно быть, есть. Стоит вчера у окна мрачный такой: «Ах, говорит, черти, черти!», потом махнул рукой и задумался. Я изумился, потому что никогда не слышал от него таких выражений.

— Ты бы, мой друг, поговорил с ним. Бог знает что с бедным делается. Может быть, надо помочь чем-нибудь.

— Ох ты, моя добрая!.. Всегда одинакова, — отвечал Обросимов. — Хорошо, я поговорю...

В тот же день Аркадий Иванович зашел к Молотову и пошел прямо к цели.

— Извините, Егор Иванович, — сказал он, — мою нескромность. Уверяю вас, что одно только искреннейшее участие руководит мною в настоящем случае. Я заметил, что вы в последнее время сам не свой. У вас есть какое-то горе...

— Вы заметили... нет... что же... ничего не случилось...

Егор Иванович отвечал с трудом, с замешательством. Он невольно закрыл рукою только что конченное письмо, в котором относился о помещике не очень лестно. Такое движение Обросимов принял за желание скрыться от него. Он понимал, что глубокая печаль не всегда откровенна, что человек не сразу покажет душевную рану, что простое любопытство раздражает ее, и касаться раны может только любящая рука. Поэтому он деликатно и ласково сказал:

— Егор Иванович, доверьтесь мне как другу; вы встретите во мне не пустое любопытство. Я осмеливаюсь думать, что приобрел некоторое право на вашу откровенность...

Молотов ничего не ответил. Он спрятал в карман письмо и, потупясь, молча отошел к окну и стал писать вензеля на испотевшем стекле.

— Егор Иванович!

Молотов писал вензеля и молчал.

— Послушайте, — сказал Обросимов, подошел к нему и взял его за руку, — у вас, право, есть какое-то горе... будьте откровенны... бог знает, я, быть может, и помогу вам... Все, что от меня зависит...

Молотов высвободил свою руку.

— Вы, Аркадии Иванович, заслужили полное право на мою откровенность... я знаю, что вы уважаете меня, но... поверьте, мне ничего, ничего не нужно...

Аркадий Иванович отошел в сторону и остановился в раздумье. На лице его заметно выразилось недоумение.

— Может быть, Егор Иванович, я действительно не в свое дело суюсь... может быть, сердечные обстоятельства...

Обросимов наблюдал за ним. Егор Иванович опустил руки в карман и наклонился к стеклу. Он покраснел.

«Дурак же я», — подумал Обросимов.

А на душе Егора Ивановича было одно чувство ожидания, скоро ли отстанет от него помещик, похожее на чувство школьника, которому учитель читает нотацию, когда у школьника не бывает ни раскаяния, ни внимания к словам учителя, а одно тягостное ожидание, скоро ли скажут: «Пошел, негодяй, на место». Потом у него повторилась в ума фраза помещика: «Может быть, сердечные обстоятельства», и почему-то Молотову припоминались фразы гоголевских героев; ему казалось, что гоголевские герои говорят точно таким языком. Молотову немного весело стало.

— Ну, так извините великодушно, — сказал Обросимов.

Егор Иваныч вдруг засмеялся.

— Бог вас поймет, — сказал помещик и пошел с этими словами к дверям.

Но у него явилось новое предположение, за которое он и ухватился с живостью. Станным может показаться, что Обросимов от души сожалел молодого человека. Но, глядя на дело объективным оком (по старости, мы не пишем обличительной статьи, а просто анализируем данные явления), должно сказать, что он любил Молотова, хотя в то же время смотрел на него как на плебея. Тут нет никакого противоречия: разве вы, например, не любите свою старую няню, но смеет ли она думать о равенстве с вами? Можно любить собачку, картину, куклу, — это не подлежит сомнению; можно любить своего лакея, крестьянина, подчиненного, — это не подлежит сомнению; и при всем том можно собачку выгнать, картину продать, куклу разбить, лакея выпороть, подчиненному дать головомойку, — это не подлежит сомнению. Обросимов любил Молотова: ему жалко было молодого человека, хотелось помочь ему; он готов был сильно беспокоиться о нем. Егор Иваныч не понимал этого. Он думал, что его не любит Обросимов. Молодой человек, очевидно, заблуждался...

— Может быть, денежные затруднения, так вы не стесняйтесь, пожалуйста, — сказал помещик.

— Нет, благодарю вас, — ответил Молотов сухо.

Обросимов переминался.

— Не оскорбил ли вас кто, Егор Иваныч?

— Нет, нет! — с живостью заговорил Молотов. — Как можно?.. Нет, никто не обидел, Аркадий Иваныч.

Обросимов пожал плечами.

— Но вас не узнать, вы совсем переменились...

Наконец Егор Иваныч не вытерпел:

— Да, у меня есть... затруднения... большие затруднения...

Обросимов стал слушать с полным вниманием.

— Но мне невозможно высказаться... поймите это... Господи, да что же это такое?

Егор Иваныч взялся за голову руками и опять повернулся к окну...

— Извините меня великодушно, Егор Иваныч... Будьте уверены, я нисколько не претендую на вашу скрытность... есть такие чувства...

— Да, да, есть такие чувства! — нетерпеливо и с заметной досадой перебил Молотов.

— Ну, извините меня... Пошли вам бог мир на душу...

Обросимов отправился к двери, но опять остановился.

— Вот что, Егор Иваныч: вы теперь расстроены, поэтому вам не совсем удобно заниматься... вы не стесняйтесь, отдохните...

Молотов молчал. У него появилось судорожное движение в скулах... Еще бы немного, и он наговорил бы помещику грубостей; в голове его стали складываться довольно энергические фразы...

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — и с этими словами помещик вышел вон.

— Насилу-то!.. — проговорил Молотов. — Черти! Мерзавцы...

Тут изящного ничего нет: Егор Иваныч ругается, и ругается довольно грубо...

Егор Иваныч отвел душу энергическими выражениями, и мы будем продолжать.

После излияний Обросимова ему еще тяжелее; еще запутаннее и бестолковее стали его отношения к чужой семье. Никогда он не ощущал такого сильного, неисходного, томящего чувства одиночества, какое теперь охватило все его существо. Слезы пробивались на его глазах, а он всегда стыдился слез, не любил их... Егор Иваныч напрягал мускулы, чтобы не заплакать, но непрошенные слезы сами ползли и, медленно пробираясь по щекам, падали тяжелыми каплями, и много было соли в тех слезах... Пустое, беззвучное, глухое пространство охватило его. «Один, один на всем свете!» — эта мысль поражала его, холодом обдавала кровь, он терялся... «Пора жизнь начинать, надобно уйти отсюда, а куда идти? Зачем идти? Для кого?» Толпами идут из души мысли, самые разнообразные и доселе мало знакомые, — откуда они поднялись? Среди их основное чувство — досада и жалоба на обиду. Гордость, эта страшная сила в своем развитии, мучила его так, как мучит человека преступного совесть. Ему стыдно было, что его отталкивали от себя некоторые люди, а как примут его другие — не знал он, и являлось сомнение в своем достоинстве. И все один, некому слова сказать. Заперта в нем эта сила гордости, не разрешенная ни единым откровенным словом, сила жалоб на одиночество, тревога несозревших вопросов и предчувствия темной будущности. Перелом совершался в его жизни, а тяжелы те минуты, когда человек переходит тяжелым шагом из бессознательного юношества, ясного, как майский день, в зрелый, сознательный возраст. Это время дается легко и мирно одним дуракам да счастливым... он просил смирения и спокойствия, не понимая, что смирение не в его натуре, которая теперь сказала, а спокойствие редко бывает в период его жизни...

Но вот он огляделся, пошел к двери, посмотрел в соседнюю комнату — там никого не было. Лицо его осветилось особенным светом; в нем выразилось что-то доброе, смешанное с впечатлениями, только что согнанными... Надежда проливалась в его сердце. Неужели так сильна его натура, что, лишь только возникли в душе вопросы, он сряду же решил их?.. Вернувшись, он запер дверь на ключ, потом остановился в раздумье... Разнообразные впечатления пробежали по лицу его...

— Нет, не могу! — сказал он с тоскою.

Но он сделал усилие, и... как вы думаете, что он стал делать?.. он начал молиться.

Недолго он молился.

Молотов подошел к окну и несколько времени смотрел в него; потом подошел к столу, закрыл глаза и взял наобум книгу.

— Что это? — спросил он сам себя.

— Лермонтов, — сам же и ответил Молотов.

Началось пустое гаданье, которому человек образованный не верит; но кто не испытывал этого любопытства, смешанного с тайным, глубоко зарытым суеверием, которое говорит: «Дай открою, что выйдет!» Егор Иваныч раскрыл книгу... Лицо его покрылось легкой бледностью, и руки задрожали. Он прочитал:

«Несчастье мужиков ничего не значит против несчастья людей, которых преследует судьба».

Он судорожно скомкал книгу, бросил ее на пол и захохотал. Что-то дикое было в его фигуре;

странно видеть молодое лицо, искаженное злобой, — неприятно. Он в эту минуту озлобился на поэта, лично на Лермонтова, забывая, что поэт не отвечает за своих героев, чтоб они ни говорили. Но он почти ни с кем не общался в это время, был в положении школьника, отвергнутого своими товарищами, в положении ужасном, при всем сознании правоты своей.

— Несчастье мужиков ничего не значит!.. их судьба не преследует! — говорил он. — Это господин Арбенин[9] сказал!.. Большой барин и большой негодяй!.. Черти, черти! — шептал он. — Господи, да с чего я выхожу из себя? Что мне до них?

Однако не скоро улеглась его злость.

Мало-помалу мысль Молотова перешла к тому, о чем писал Негодящев. Быть может, и справедлива была догадка, что друг, обличая Молотова, высказал свои личные немощи, но за всем тем много резкой правды осталось в письме. При помощи письма недавно возникшие вопросы определились окончательно и с новою силою хлынули в его душу. «Призвание?» — вот вопрос, от которого он не мог отделаться всею силою диалектики. Это слово было так значительно, что не оставляло его головы. С полным напряжением мозговой силы работал Егор Иваныч. Врасплох застала его новая задача; и учился он и жил, не думая о будущем. «Ты изучаешь свою старую жизнь и на основании такого изучения хочешь решить вопрос поистине громадного размера» — этого-то с ним и не было. Он раскаивался, зачем не думал о том прежде, зачем проглядел в своей жизни такой важный вопрос; Егор Иваныч не привык к нему, не приговорен. Всего остается жить в Обросимовке несколько дней, а дальше? Дальше виделась какая-то бездна пустоты, безбрежный океан жизни, в котором ничего не рассмотреть. «Господи, твоя воля! — думал он. — Сегодня или завтра, на этих днях надобно решить задачу, зачем я родился на свет». Ему даже приходило на ум, не остаться ль в Обросимовке еще на месяц; но лишь только Молотов вспоминал, как он «ест много», — злость закипала с тем большей силой, что он раздражен был душевными вопросами и измучен. «Черти, черти!..» — шептал он. Молиться Егор Иваныч не мог, да ему казалось, и некогда молиться. Ужас охватил его страшным холодом, как человека, потерявшего надежду найти дорогу из лесу. «Призвание?» — ох, какая сила в этом слове для того, кто не успел отыскать в нем никакого смысла, а между тем понял все значение его. Многие у нас рождаются как будто взрослыми, сразу поймут, что им надобно делать на свете, и, не спрашивая, что такое жизнь, начинают жить; иные эту безвестность жизни возводят даже в принцип, как Негодящев; иному скажут папаша и мамаша: «Будь юнкером, чиновником, дипломатом», — и эти счастливые с пяти-шести лет знают, что они должны делать на свете. Егор Иваныч был поставлен в иные условия. «О, проклятая, бессознательная, птичья жизнь!» — говорил он и не понимал теперь, как это он жил до сих пор; ему не верилось, что он провел несколько месяцев так безмятежно; представлялось прожитое время какой-то сказкой, лирическим отрывком из давно читанной поэмы, а между тем эта поэма кончилась всего несколько дней назад... От мучительной работы ослабели его твердые нервы... наконец, пусто стало в голове... Так ученый труженик после семи- или осьмичасовой работы архивной, после микроскопического вглядыванья в мелкие факты, цифры и штрихи исторические, в виду огромных, покрытых пылью фолиантов, которые еще предстоит одолеть ему, — наконец опускает обесмысленный на время взор и не видит ничего в своей тетради, курит сигару и запах в ней не слышит. Легко сказать: «Я прямо смотрю в жизнь!.. Вон она!» — Как же!.. Лишь только жизнь глянула своими широкими, прекрасными и страшными очами, Молотов зажмурился от невыносимого блеску очей ее. Оно в поэзии, в пасторалях и эклогах — так, а на деле невыносимо трудно бывает, если только папаша не сказал: «Ты дипломат», или мамаша: «Ты юнкер»... Наступил покой в душе Молотова, тишина; никакая мысль не шевелится, ничего не хочется, не чувствуется... Сгорбившись, с помутившимся взглядом, с глупым выражением лица смотрит он в воздух и ничего не видит... Вон трещина на штукатурке стены, и он следит за ее изгибами и сечениями: как будто нос выходит; потом начинает побалтывать ногою и внимательно смотрит на кончик сапога; с чего-то припоминаются слова сказки, говоренной еще отцом: «А Спиря поспиривает, а Сёма

посёмывает»; потом он стал разглядывать ладонь свою, близко поднес ее к лицу и важно и без смыслу глядел на нее; слышит он, как будто волоса шевелятся у него, а по ноге ползут мурашки; все мелкие явления останавливают его утомленную полумысль. Он вздохнул, но это вздох физический, как и спокойствие его — физическое спокойствие, мучительное, мир, от которого избави бог всякого, страдание без борьбы; так охватывает вода человека, так душит его тяжелая перина... Но наконец засидевшееся тело просило, чтобы в нем разбили кровь. Молотов вышел на улицу, пошел через поле, мимо пашни, обогнул кусты у реки, к лесу, оттуда к кладбищу. Спокойствие уже не душило его. Это был простой моцион. Движение и разнообразие предметов занимали его. Вот он у мельницы, на той скамейке, где сживал с Леночкою. Теперь он едва ли не совершенно спокоен, даже выражение лица его довольно и кротко, взор ясен, мысль блуждает беспредметно. Он стал напевать что-то, как часто напевал сквозь зубы. Возвращались силы и способность к впечатлениям. Надолго ли он успокоился? Не всякому выдаются такие деньки, какие выдались на долю Егора Иваныча, хотя — что такое с ним случилось? Ничего особенного. Это большой мальчик капризится, оттого что старшего над ним нет. Будь у него старшие, они, вероятно, объяснили бы Молотову, что ему иначе надобно понимать Обросимовых и иначе вести себя по отношению к ним, но у него не было руководителя, и пришлось все понимать по-своему, так, как бог на душу положит. Предоставьте человека самому себе, и выйдет с ним то же, что с Егором Иванычем: человек будет очень требователен. Хорошо ли это?.. Нехорошо?

Егор Иваныч занимался с Володей по грамматике.

— Извините, я, кажется, помешала вам, — сказала Лизавета Аркадьевна, входя в комнату Молотова.

— Ничего-с; вот мы и кончили, — ответил он.

— Я к вам с просьбой.

Молотов поклонился.

— Вы не достанете ли мне китайский роман?

— Но где же я могу достать, Лизавета Аркадьевна?

— У Леночки Илличовой есть китайские романы.

Молотову показалось, что эти слова были сказаны насмешливо, не без задней мысли, но он не доверял себе, потому что потерял способность судить об окружающих его людях беспристрастно.

— Вам бы удобнее самим обратиться к Илличовой, — сказал он.

— Не хочется мне. Кажется, в последнее время вы довольно коротко сошлись с нею.

Молотов покраснел и с недоумением посмотрел на Лизавету Аркадьевну, которая отвечала ему испытующим взглядом.

— Вы так часто проводили с ней время — гуляете, говорите. Но скажите, пожалуйста, какие книги вы посылаете ей? Что читает эта девушка?

— Я давал ей Пушкина, — ответил Молотов неохотно.

— Так вы достанете мне роман?

— Хорошо-с...

— Я надеюсь, что это вам легко будет сделать.

Лизавета Аркадьевна ушла.

«Неужели это намеки? — думал Молотов. — Как это неделикатно с ее стороны!»

Это Молотова беспокоило.

«Еще Леночка!» — подумал он.

— Егор Иваныч, — спросил Володя.

— Что?

— Знаете, какая глупость мне пришла в голову?

— Скажите, Володя.

— Я в воскресенье бегал по саду; мне захотелось стрижа поймать...

— Ну-с...

— Вот я и побежал к вам...

— Ну-с...

— Вы были в беседке с Еленой Ильинишной.

— Ну-с...

— Мне показалось, кто-то целовался. Молотов покраснел и с досадою сказал:

— Глупости вы говорите, Володенька.

Володя не понял, отчего ему сделали такое строгое замечание, однако не продолжал истории о стриже. Егору Иванычу неловко было в присутствии этого простодушного и наивного мальчика.

— Я пойду, — сказал Володя.

— Ступайте, — ответил Молотов.

«Как запуталось все! — думал он. — Еще Леночка на моих руках — это дело чем кончится?.. Что, если следят за нами?.. Но никому нет дела до меня; всякий за себя отвечает... Мешаться в дела такого рода нельзя...»

Но никто и не думал мешаться, и напрасно Егор Иваныч беспокоился. Егор Иваныч долго обдумывал что-то.

В шесть часов вечера Молотов отправился в Илличовку. Не доходя до ней, он услышал с берегу знакомый голос.

— Егор Иваныч!

Он вздрогнул. Елена Ильинишна удила рыбу.

— Как хорошо клюет!.. Ступайте сюда!

Когда Егор Иванович спустился к реке, Леночка оставила удочку и пошла к нему навстречу.

— Здравствуйте, Егор Иванович; что это вы не откликаетесь?

Егор Иванович подал ей руку и поздоровался.

Леночка, казалось, вполне была счастлива; она смеялась и заглядывала в лицо Молотову. Но вдруг лицо ее приняло озабоченное выражение.

— Что это, Егор Иванович, вас не узнать совсем... скучный какой!.. Егорушка, что с тобой? — говорила ласково и заботливо Леночка.

Она поправила его волосы и приложила ко лбу свою руку.

— Какая горячая голова!

Она поцеловала его.

— Да ну, Егорушка, перестань; что ты такой сердитый?

В ее голосе слышались слезы.

Егор Иванович тряхнул головой и повел плечами.

— Ишь какой! — сказала Леночка, — Что дуться-то? Муху, что ли, проглотил?

— Ах, Леночка, проглотил!

— Здоров ли ты?

— Здоров.

Оба помолчали.

— Так давно не видались, — сказала Леночка. — А ты вот какой! А я про тебя все думала.

Они дошли до дому Илличевых и отправились в сад, на дерновую скамейку.

— Ну, что же выдумали вы? — спросил Молотов.

— Ах, какой ты сегодня!.. Что выдумала?.. Ничего не выдумала...

— Леночка...

— Что?

— Хотите, я вам скажу о чем-то.

— Хорошо.

— Что бы вы сказали, когда бы привели к вам кого-нибудь и спросили: дайте этому человеку дело на всю жизнь, но такое, чтобы он был счастлив от него.

— Зачем это вам?

— Нужно.

— Да этого никогда не бывает.

— Бывает.

Леночка задумалась, наклонила голову и затихла. Хорошо выражение лица девушки, когда она занята серьезной мыслью, а Леночка почувствовала женским инстинктом, что ей не пустой вопрос задан. Она, ей-богу, от всей души желала бы разрешить его, но ничего не смыслила тут.

— Не знаю, — сказала она и посмотрела на Молотова — что с ним будет.

Он усмехнулся.

— Вы бы спросили умных людей, если это вам так надобно, — посоветовала Леночка серьезно...

— Умных людей? Да они меньше всего смыслят в этом деле. Никто не знает такого дела, да и нет его на свете... Кого занимают такие вопросы? И говорят о них редко и слегка, и то для того, чтобы язык не залежался. А! Пустяки всё! — сказал он и махнул рукою.

— Ты, Егорушка, не думай об этом...

Молотов не слышал ее слов. У него поднялись и заходили мысли о будущем. Опять вспыхнула внутри работа...

— Господи, — сказал он в глубоком раздумье, — не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою... выдумать ее, что ли?.. Сочинить?.. У умных людей спросить?.. Умные люди оттого и умны, что никогда о таких вещах не говорят...

— Так и мы не будем говорить...

— Нельзя, Леночка...

Леночка слушала его с полным вниманием, раскрывши глаза широко. В ее чудных глазах любовь светилась; ротик ее полуоткрыт; яркий румянец горит на щеке...

— Неужели моя жизнь пропадет даром?.. Где моя дорога?.. Неужели так я и не нужен никому на свете?

Он крепко задумался. Леночка все смотрела на него, ожидая признаний; но при последних словах Молотова она неожиданно обвила его шею руками и осыпала все лицо поцелуями, крепкими и жаркими, какими еще никогда не целовала его.

— Егор Иваныч!.. Душка!.. Ты герой!..

Молотов пожал плечами и чуть вслух не сказал: «Душка!.. Герой!.. Вон куда хватила!..»

Поцелуи не разогрели его, несмотря на то что Леночка первый раз охватила его так страстно. В ее поцелуях, горячих и бешеных, было что-то серьезное; стан ее выпрямился, она точно больше ростом стала; во всей ее позе была решительность и какая-то женственная смелость и отвага; грудь поднималась медленно и равномерно, и чудно откинула она в сторону свою маленькую ручку... Молотов ничего не заметил. Он смотрел угрюмо в землю...

— Милый мой!.. Егорушка!.. И мне тоже все чего-то хочется... Я перестала понимать себя... боюсь всего... такие странные сны... Я плакала давеча...

— О чем, Леночка?

— И сама не знаю о чем... Но теперь ты стал говорить, и мне так легко, так легко... Я никого на свете не боюсь... Я птица!.. Полетим, Егорушка!..

— Полетим, — сказал Молотов и засмеялся...

Леночку обидел этот смех...

— Всегда так... зачем чувство охлаждать?..

— Куда же лететь?

— А вот чрез кладбище, за озера, за Волгу... туда, туда... Ты понесешь меня в объятиях... Пойдем в долину; хижину выстроим... Пусть все меня оставят; я никого не хочу...

— Леночка, возможно ли это?

— Ах, какой ты несносный!.. Я знаю, что нельзя, ведь не дурочка... Для того разве говорят?.. Это так. Ведь я люблю тебя, Егорушка...

Молотов засмеялся...

— Ой, как ты громко смеешься!

Леночка замолчала, опустила ресницы вниз; досадные слезы пробивались на ее глазах, она гневно щипала мантилью.

— Господи, чем это все кончится? — вырвалось у Молотова.

— Да о чем же ты горюешь, Егорушка?

Не спросила бы его Леночка с такой любовью, если бы знала, о чем он думает. Молотов от злости стал несправедлив; у него желчь разлилась... Он думал: «Полетим, Егорушка!..» Ах ты птичка, птичка!.. Полетим!.. «Я сама знаю, что нельзя!..» Что это я наделал?.. Как так втянулся в эти странные отношения? Припомнилась ему вся любовь, вся игра в поцелуи, пожатие рук и сладкие глазки, припомнились страстные ночи, и досадно ему было, зачем все это случилось. Но, несмотря на все это, он как-то невольно тянул время последнего свидания. «Надобно покончить, — думал он, — сказать ей...», а сам все сидел, и не хотелось ему уйти так скоро...

— Егорушка, да что ты такой скучный?.. Что с тобой сделалось?..

Егор Иваныч не отвечал; он думал: «Ах вы божи ласточки!.. Господи, как все это сделалось? Неужели наши отношения кладут на меня серьезные нравственные обязательства?.. Что нас связало? Несколько поцелуев, бог знает каким образом полученных. Я и сам не знаю, что такое у нас вышло. Во всяком случае, один исход — расстаться».

— Егорушка, — говорила Леночка...

«Допрашивается! — думал Молотов. — Но, быть может, я напрасно беспокоюсь; вероятно, кончится все просто...»

Леночка опять обняла Молотова. Ему сделалось невыносимо.

— Елена Ильинишна, — сказал он серьезно...

— Что?

— Нам пора объясниться...

У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала какое-то горе; никогда Егор Иваныч не говорил так с нею.

— Разве мы не объяснялись? — спросила она...

— Нет, не объяснялись; все у нас было, кроме объяснений.

— Ну, скажите, — ответила Леночка, боязливо глядя на собеседника.

— Вы меня любите?

Леночка хотела обнять его. Он уклонился.

— Я вас очень люблю...

— Но, разумеется, можете привыкнуть к той мысли, что мы не всегда будем поддерживать каши отношения.

— К чему же об этом говорить?

— Подумайте, пожалуйста, и выскажитесь откровенно. Ей никогда не приходил такой вопрос на ум, и она с замешательством отвечала:

— Да, я вас люблю...

— Простите же меня, Елена Ильинишна, я вам не могу отвечать тем же...

Леночка взглянула на него испуганным взглядом и вскрикнула. Болезненно отозвался этот крик в душе Молотова. «Вот она так любила!» — подумал он.

— Елена Ильинишна, кто же виноват? Кто виноват? Вы должны помнить, что не я первый...

— Молотов оборвался на полуфразе, потому что невольно почувствовал угрызение совести. «Что ж такое, что не я первый», — шевельнулось у него в душе, и он кончил иначе, нежели начал:

— Более мой, что же это на меня напало!..

Он страдал. Леночка смотрела все молча и испуганно. Лицо ее было бледно; сердце сжалось и ныло страшно, рука ее как лежала на плече Молотова, так и осталась, и Молотов слышал, как рука ее дрожала слегка. «Зачем же она любила?» — думал Молотов со страхом.

— Что ж это, Егор Иваныч, разве можно так?.. Вы говорили, что будете любить...

— Нет, Елена Ильинишна, — проговорил он с усилием, — я никогда этого не говорил... припомните, пожалуйста... Я и сам не понимаю, как все это случилось...

Леночка не возражала.

— Ведь это пройдет; вы меня не сильно любите...

Леночка заплакала.

— Этого еще не доставало, — прошептал Молотов.

Послышалось всхлипывание и тихое, ровное, мучительное рыдание; запрется в груди звук, надтреснет, переломится и разрешится долгой нотой плача; слезы катились градом... Прислушиваясь к ее плачу, Егор Иваныч невольно вспомнил ночь, когда видел «до гроба верную и любящую...».

— Вот из чего слагается горе человеческое, — прошептал он, — плачет она, бедная!.. Что же я-то могу сделать?

— Никому мы не нужны... кому любить таких?..

Она зарыдала сильнее.

Молотов сидел ополоумевши. Последние слова задавили его. Мучительные минуты одна за другою еле ползли. Он слышал, как в висках его стучало... Наконец Леночка стихла.

— Кого же вы полюбили? — спросила она.

— Никого, Елена Ильинишна...

— Вы не хотите сказать... не бойтесь...

— Уверяю вас, никого не полюбил...

— Что же это? — спросила она с изумлением.

— Ах, как тяжело мне, — сказал Молотов...

Долго они сидели молча. Вечернее солнце уходило за лес, и листья сада зыблились и блестели красноватым светом. Мелкая птица кончала свои песни. Тени ложились углами и квадратами. Бледный серп месяца уже глядел с неба. Ласточки, вылетая из-под крыш, трепетали в воздухе, летели на реку, омакивали крылья в воду и опять неслись с визгом... Кто не знает, что в птичьей песне нет человеческого смысла? Но кто не отыскивает в ней смысла? И Егору Иванычу казалось, что птицы его дразнят. Зяблик все одну и ту же руладу повторяет... отчего?.. Оттого, что одну только и знает... Не всегда бывает так тяжело расставанье для истинно любящего, как оно было тяжело для Молотова. «Итак, ко всем несчастлиям еще подлость? — думал он. — Ты не должен был целовать ее, если впереди не видел ничего серьезного. Но кто же мог все это предвидеть? Бедная, бедная Леночка! Как она плачет!.. Как ей тяжело!..

— Леночка, — сказал он, взял ее руки и крепко поцеловал их. — Леночка, простите меня... все это пройдет как-нибудь... не горюйте... не сердитесь на меня... скажите, что вы вспомните меня добрым словом...

Леночка опять заплакала... Она как будто предчувствовала, что в ней чего-то нет, за что любят других женщин, что ее полюбили так, нечаянно, по ошибке и теперь, так поздно, хотят поправить ошибку. И уже в ее слезах слышалась не только жалоба о потерянном счастье, но и жалоба на обиду, недоверие к себе... Между тем Молотов думал: «Ничем нельзя оправдаться: я подло поступил, подло!»

Он вслушивался в это новое для него слово, как человек, который вслушивается в только что родившуюся и начинающую расти мысль. Вот он что-то очень ясно понял и усвоил, так что это выразилось во всей его фигуре, и он прищурил глаза от внутренней боли. «Подлость? Ну так что ж такое? — думал он. — С новым чувством познакомился. Опыты обходятся нелегко, ничего даром не узнаешь. Зато теперь вполне человек!» Ему противно стало от такого направления мыслей: «Но кому какое дело? — думал он. — Всякий сам за себя отвечает, а тут иначе и быть не могло». Ему хотелось остановить в себе это мучительное брожение мыслей.

— Елена Ильинишна, нам проститься надобно.

Она не отвечала.

— Не плачьте, Елена Ильинишна; простите меня.

— Егорушка, меня никто больше любить не будет.

Она бросилась к нему на грудь, обняла, поцеловала его. Рыдания ее надрывали душу Молотову... Жутко ему стало... слеза прошибла, и он с чувством отвечал на ее поцелуи... Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бедной девушки... глупенькой, кисейной девушки... Она так жить хотела, так любить хотела и доживала последнюю лучшую минуту жизни. Впереди ее пошлость, позади тоже пошлость. Ясное дело, что она выйдет замуж, и, быть может, еще бить ее будут... Теперь она могла бы воскреснуть и развиться, но... суждено уже так, что из нее выйдет не человек-женщина, а баба-женщина. Молотов чувствовал это. Страшно ему было за Леночку. «Пропадет она!» — думал он.

— Леночка, прости меня, — шептал он...

— Я знаю, отчего ты не можешь любить меня...

Молотов целовал ее руки и сам не знал, что с ним творилось. Он сознавал, что не имеет любви к ней, но Леночка была дорога ему... не как сестра, не как друг... а за то, что она любила его... Никому и дела не было до него, а она?

— Я знаю, — повторила Леночка, — ты не можешь любить меня, потому что я глупенькая...

Молотов невольно закрыл лицо руками...

— Тебе жалко меня, потому что ты добрый.

— Боже мой!.. — проговорил Молотов, и по какому-то инстинкту он прибавил: — Так женщины не говорят.

— Нас много таких девушек, — говорила Леночка, — но, Егорушка, и такие, как Лизавета Аркадьевна, не лучше нас.

— Леночка, ты ревнуешь?.. Я не могу ее любить... я уезжаю отсюда... я ненавижу их... Эти аристократы обидели, обругали меня...

Молотов, будучи рад, что нашел человека, пред которым мог высказаться, вполне открыл свою душу. Он рассказал Леночке все, что он пережил в последние дни, и как подслушал разговор Обросимовых, и что он думал, как помещик помочь ему хотел, как гадал он по Лермонтову, и о письме друга своего, и как страшна для него будущность — все, все, точно Леночка подругой его стала... Она слушала его с увлечением, положив на его плечо свою хорошенькую головку. Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «Да этого не бывает...»

— Я их не люблю, — сказала она горячо...

Молотов поцеловал ее, но это был не страстный, а добрый поцелуй.

— Бог с ними, — сказал он...

— Никогда их не буду любить... Я тебя люблю; я не сержусь на тебя.

Они расстались добрыми друзьями, но Леночка всю ночь проплакала и все понять не могла, «отчего же нас любить нельзя?.. Отчего?». Прошли для нее хорошие, добрые дни; но ей было жалко не только добрых дней, тихих вечеров и ясных поцелуев, — она чувствовала какую-то особенную горечь на сердце и все спрашивала: «Отчего же нас любить нельзя?» У нас немало встречается таких женщин, как Леночка, и многие увлекаются их щечками, щечки целуют, и хорошо, если останавливаются только на том, на чем остановился Молотов...

Иначе для них невозможна будет и бабья карьера. Что тогда?.. Молотову пришло в тот день на ум: «Обросимов не хочет меня признать полным человеком, как сам он, а я Леночку не хотел признать полной женщиной. Но дело сделано, теперь не воротишь!» Однако и Молотов эту ночь провел беспокойно, несмотря на то, что в тот день измучился и физически и нравственно.

Егор Иваныч немало услышал добрых пожеланий от Обросимовых, когда они узнали, что он едет на службу по приглашению приятеля. Все были к нему внимательны, ласковы, добры. Вот уже в зале накрыт стол белой салфеткой, раскинут огромный дорогой ковер, из спальни комнаты принесена большая икона, свечи зажжены. Аркадий Иваныч настоял, чтобы отслужили напутственный молебен. Пришли священник и дьячок. Во время обряда, от которого Молотов хотел было уклониться, его посетили кротость и смирение. Ему представилось, что он, быть может, никогда не встретится с этими людьми, а после этого ему казалось дико и нелогично сердиться на них. Тогда возникло на душе его то чувство, которое создало афоризм: «О мертвых либо ничего, либо хорошо». «Все это прошло, — думал он, — а на прошедшее нечего сердиться. Все мертвое, все прошлое, все, что больше не встретится в жизни нашей, — не возбуждает злости».

— Ну, дай вам бог счастья на новом поприще, — сказал Обросимов, — не забывайте нас...

— Желаем вам всего хорошего; мы вас любили, — сказала Марья Павловна, — пусть все вас так любят.

Лизавета Аркадьевна подала ему руку.

— Прощайте, Егор Иваныч, — сказал Володя.

Молотов поцеловал его в голову...

Прислуга толпилась и тоже кланялась Молотову и от души желала ему всего хорошего.

Его провожали, как родного, и умилительна была эта картина, когда чужому человеку чужие люди желали всего хорошего. Ведь это редко бывает.

Но не выдумывать же автору несуществующих пока примирений! Егор Иваныч все-таки ненавидел их, хотя и говорил: «О мертвых либо ничего, либо хорошо». «Так где же счастье? — спросит читатель. — В заглавии счастье обещано?» Оно, читатели, впереди. Счастье всегда впереди — это закон природы.

1860

Примечания

1

Марлинский — псевдоним писателя-декабриста Александра Александровича Бестужева (1797–1837), автора повестей «Испытание», «Лейтенант Беловзор» и др.

2

«Всех цветочков боле розу я любила» да «Стонет сизый голубочек» — песни-романсы поэта Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837).

3

Новый человек (
лат .)

4

Варламов Александр Егорович (1801–1848) — русский композитор, автор песен и романсов.

5

«В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть...» — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

6

Фемида — в греческой мифологии богиня правосудия.

7

«Тряхнул кудрями — дело вмиг поспело» — из стихотворения А. В. Кольцова «Первая песня лихача Кудрявича» (1837).

8

Трансцендентальное — непознаваемое, сверхопытное.

9

Господин Арбенин — герой драмы М. Ю. Лермонтова «Странный человек» (1831).